

Поэтическая премия  
«Русского Гулливера»  
2014



**Александр Петрушкин**

шорт-лист в номинации  
«Поэтическая рукопись»

лауреат  
Специальной премии  
издательского проекта

ISBN 978-5-91627-164-5



9 785916 271645

Александр Петрушкин

## ГЕОМЕТРИЯ ПОБЕГА









Александр Петрушкин

ГЕОМЕТРИЯ ПОБЕГА  
книга стихотворений

Москва  
«Русский Гулливер»  
2015

УДК 821.161.1-1  
ББК 84(2Рос=Рус)6-5  
**П 30**

*Премия Русского Гулливера — 2014*  
*Специальная премия издательского проекта*

**Петрушкин, Александр**

**П30** Геометрия побега. Стихотворения. — М. : Русский Гулливер; Центр современной литературы, 2015. — 168 с.

Александр Петрушкин родился в 1972 году в городе Озерске Челябинской области. Публиковался в журналах «Урал», «Крещатик», «Уральская новь», «День и ночь», «Нева», «Дети Ра», «Воздух», «Знамя», «Text only» и других, в «Антологии современной уральской поэзии: Том 2 и 3». Куратор проектов культурной программы «Антология». Координатор евразийского журнального портала «МЕГАЛИТ» <http://www.promegalit.ru/>. С 2005 года проживает в г. Кыштым Челябинской области.

Премия Русского Гулливера учреждена в 2014 году Центром современной литературы, издательским проектом «Русский Гулливер» и мультимедийным журналом «Гвидеон». С рукописью книги стихотворений «Геометрия побега» Александр Петрушкин вошел в шорт-лист основной номинации («поэтическая рукопись») и стал лауреатом в номинации «специальная премия издательского проекта».

© А. Петрушкин, 2015

© Русский Гулливер, 2015

© Центр современной литературы, 2015

ISBN 978-5-91627-164-5

I

ДВОЙНИК

\* \* \*

Доеденный лисой собачий лай,  
подобранный — где лыжник леденцовый,  
на палки продевающий снежок —  
летит как тень с оторванной спиною,

летит, сужаясь в эхо, тянет R,  
в дагерротипы встав наполовину —  
когда пойму и эту чертовщину —  
ты зашифруй меня скорей, скорей,

чем эта необъятная страна  
на клетку влезть почти по-черепашьи  
успеет, путая следы сякой судьбой —  
что, если вдуматься — вопрос почти вчерашний,

Что слухом видишь? — пса с собакой гул  
неразличимы тёмной тишиною —  
и если лыжник только что заснул,  
лыжня его становится норую

широкой — как, бывает, снегопад  
растёт над людом местным и неместным,  
когда его какой-нибудь бомжак  
в окошке наблюдает слишком честно.

Рассыпавшись, вернутся, как фонтан,  
два тополя, запутавшись в кафтанах  
детишек, что скребутся в рукавах  
у воздуха морозного. Как ранка

не заживает голос тощий мой —  
доеденный, как время, ненадолго —  
бежит лисой с оторванной спиной  
и лыжник спит пока ещё негромко:

когда — открывшись сбоку — ему бог  
то в морду, то за спину мёртво дышит —  
не приведи Господь так долго жить,  
чтоб довелось — и вымолить, и выжить.

\* \* \*

О, воздух, ты, который позабыт  
в гусиной стае, ставшей моей плотью

[почти что крайней], где Хироном сшит  
и прожит маслянистою любовью.

Бензина россыпью на негустой воде,  
на отраженье жжёном и тяжёлом

лежишь, как два любовника в траве,  
и шевелишь в ней узкой головою...

О ты, который выжит и нашит,  
как туз бубновый на кленовой жабре,

ты из меня — щеглом из тьмы — дрожишь  
и жабой голоса во рту то  
длишь, что умираешь.



\* \* \*

Войным-война здесь, Катя, непогода  
по воздуху вползает запах йода  
по тростнику китайскому — порода  
решает всё за нас, как за удода  
(о!) этот запах кухонный, пернатый,  
что отстаёт от до-стихов — как даты  
скажи ещё кому-то: «запах йода...» —  
и морщится [в нутро своё] природа.

О, этот воздух (йэ!) катеринбургский:  
волной идут кретины на этрусков —  
во их главе Улисс [почти] маячит —  
он наблатыканный ХИММАШ переиначит.  
Здесь, на резиновых деревьях, спят наречья —  
как дым до дыр самим себе переча,  
И запах спирта вьёт в песочницах гнездо,  
растягивая жизнь до самой ДО.

Храни, мой дым [почти что папиросный],  
царапины [а вовсе не вопросы]  
в коленках, сорванных когда войным-война  
была ещё весома и больна —

о, белый запах меж пустопорожних —  
нас обучил быть-лечь неосторожный  
[всё больше в горло] [больше горлом] йод  
из чернозёма как трава рот в рот



\* \* \*

Сидит обманкой в поплавке  
кузнечик нашей бытовухи —  
поклёвка ходит налегке  
и лижет спирту руки,

и рыбы светят из-под вод  
мохнатым светом глаза,  
везут стихи во мгле подвод  
живых три водолаза,

сидят в прозрачной немоте  
в каком-нибудь Тагиле,  
ладонью водят по воде  
в неслышимом здесь стиле

в услышимом и там и здесь  
кузнечике пропащем.  
Сидит обманкой в поплавке,  
что умирать не страшно,

что если бог какой-то есть —  
то снег к Тагилу жмётся  
(от холода его слепой)  
в собачьи стаи бьётся.

Там — говорящий поплавок  
меня обманкой лечит:  
чем ближе смерть — плотнее бог,  
чем наст — прозрачной речи



\* \* \*

Скрипящая пружина слепоты  
вытягивает светом из нутра  
животного февральской густоты  
замеса воздух — будто здесь гора  
все семечки подсолнечные жмёт  
в ладони додекретной темноты  
у масляного временного рта —  
открытые для неба так пусты.

Я выучил уральский разговор  
татарских веток, бьющихся в окно,  
скрипит пружина воздуха внутри  
озона. Начинается озноб —  
так начинает смерть с тобою жить,  
и разливает по бутылкам свет,  
и кормит жизнь свою по выдоху с руки,  
и зашивает снег сугробам в лоб.

Иди же, мальчик, звуком поищи  
невнятный выход ангелу отсель —  
на лисьей горке плавают лещи,  
сверяя скрип дочеловечьих тел.  
иди же, мальчик, гендером иди,  
свистящим переносом словаря  
почти что птичьего, его почав, почти  
внутри гнездовья своего горя,

по воздуху за богом приходи,  
и жуй косноязычие его —  
кому понятны ангелы твои,  
в февральском масле вяленые врозь?  
кому понятно, что мы говорим —  
разбитые на биографий лёд?  
Свет переполнил сумерки свои,  
чтоб боже правый смог усечь наш рот.



## ДЕРЕВЯННЫЙ ВЕРТОЛЁТ

взаимно тихо говорит  
из досок сбитая зима:  
ты не умрёшь с тоски [с тоски  
не сходят] не взойдя с ума  
и всходы у дурных времён  
как входы в торфяные мглы  
открыты пальцами собак  
пещерных — до земли голы

и деревянный вертолёт  
бормочет дым из глубины  
горит по тихому как лёд  
из нефтяного дна воды  
но не взаимны голоса  
из досок сбитая зима  
выгуливает смерть свою  
и лаает будто снег в санях

ей деревянный вертолёт  
летающий от зимы на свет  
потрескавшимся языком  
кровавый слизывает след  
с лопаты лижет свой язык  
как пёс дуря от крови  
до крови [разодрав живот  
земной у жестяной воды]

## СОБАЧЬЯ ГОЛОВА

волен Гулливер в собаке  
что собака в Гулливере  
в суете и вере едут  
в некоем прощальном сквере

а обратно едут люди  
как растения обвиты  
мрамором и снежной крошкой  
поигрушечно убиты

сшиты Гулливер с собакой  
и собака с головою  
тень проходит между ножниц  
сизым веком на куски

камень ножницы водице  
шьют и гроб и рукавицы  
набирают в тень собаки  
гулливеровой тоски

\* \* \*

*Фёдору*

И вот, придумав, что любим  
на свете тот, что богнебог —  
горит на кровавом огне  
трамвай печальный без стихов:

без рельсов заезжает он  
в дома, где нет ни этажей,  
ни жителей, и бьётся кровь  
стеклянных голубых стрижей.

Светлеет в крове — богнебог  
претерпевает, что простим,



и ощущает здесь подлог —  
когда не рай, а всё же лимб,

когда трамвай порожний спит,  
прильнувши краешку окна,  
когда с той стороны земли  
ушедший смотрит на меня,

с той стороны реки, с воды  
сдувая свежей почвы вдох —  
приходит дно, приходит сын  
и срамно богу, что — не бог.

\* \* \*

*Евгении Извариной*

На птичьем рынке — торфяной язык —  
читавший арамейски — понимает:  
поди налево, если не убит,  
поди направо — видишь: там светлеет.

На каждый полумёртвый светофор,  
на всякий крестоцветный — без базара,  
как птица в клетке, по карманам вор:  
он кормится — прости — ему так надо.

Исполнив эту глиняную печь  
и перечни свои опустошивши —  
поищешь свет, а он — ни там ни здесь,  
как зёма, из-под почвы тихо свишет.

\* \* \*

Сминая бумажную воду  
Не дышит свинцовый карась  
Идёт с той [почти по богу]  
по воздуху вверх накрепко

он жабры свои не шнурует,  
шифрует под речь чёрный ил  
и если дорвётся до суши  
то верно поймёт, что он был,

сминая, царапая оду,  
глазая в чудовищный страх,  
что с точностью неба не спорят  
в бумажных и рваных потьмах.

\* \* \*

Не раньше, чем начнётся смерть,  
жующая свой хлеб беззубый,

не раньше, чем меня и впредь  
не встретит мент, и не разбудит,  
не вложит камень мне в глаза,  
а в губы — гул пчелиный долгий,  
я буду слышать голоса  
тех, отъезжающих на лодке,  
тех, уезжающих вперед,  
сбросавших вещи в саквояжи  
поспешно в свалку, как шенков,  
так словно не успеть им страшно  
на этот длинный пароход  
и не имеющий причала,  
где б чайка, проверяя рот  
б/у-шный, отвердев кричала  
невнятно требуя избы,  
сирени, от мороза ломкой,



и замороженных глубин  
или хотя бы потной шконки,

всплывут горящие гробы,  
и станет мне тепло на лодке  
перегибающей в обрыв,  
где от встречающих так громко.

\* \* \*

И вот ещё, ещё немного — и начинается потоп,  
сминая выдох у порога, чтоб спрятать в травяной носок,  
в полынной кости распрямляя [ещё не пойманную] речь  
[нагретой до кипенья] почвы, чтобы удобней было лечь.  
Так опадают воды ... воды... как выдохи и пузырьки,  
и люди дышат словно овцы, дойдя до ледяной реки,

и с ними дышит, улыбаясь, как старость женщины, звезда,  
ломаюсь в темном отраженье на: да — и да — конечно, да —  
ещё, ещё её немного поддержишь, выпустив с руки,  
а люди дышат, словно овцы с той глубины одной реки,  
сминая выдох у порога, в полынной кости копят тьму,  
чтоб говорить немного боле немногим меньше одному.

## КОЛЧАК

*У юной Росы Камборьо  
Клинком отрублены груди,  
Они на отчем пороге  
Стоят на бронзовом блюде.*  
**Ф.Г. Лорка**

Соски срезая ржавую метлой,  
стоит у входа с неба часовой —  
он машет медленной [как будто бы кино]  
рукой кленовой этим за спиной.

Приветствует [не то чтоб вялый Омск]  
входящих и ведущих в эту ось  
полуслепых [двудённых, как котят]  
и в свой живот кладёт их, в ровный ряд

на блюдо под палёною корой.  
Ещё [как будто даже молодой]  
один из мертвецов, как водомерка  
суёт наружу руки — типа, мелко.

Метла проходит [вся в бушлате черном]  
и слышит сиплый говор в коридорном  
наречии фанерной коммуналки,  
и покрывается испариной [здесь жалко

становится по-лагерному]. Чёткий  
поветочный досмотр ведёт дозорный  
и каркает из тёмного бушлата,  
и публика [немного виновато]

расходится к кругам сосков молочных  
моей жены — кровавой и непрочной,  
и плёнка рвётся [как в кино — два раза],  
зрачки срезая с глаз [как бы проказа].



## ОДА НА ТРЕТИЙ ИЮЛЬСКИЙ ЛИВЕНЬ

Холодная вода, что вертикальна,  
стоит — шевелится — который день летально —  
садам — по горло — конопле, канаве  
[как бы избавишись от ангелов и правил,

где я углом живу сентиментальным,  
себя не стою — от того и плачу,  
что нас не выдаст Бог, торчащий сбоку,  
торчу с водой, которой одиноко].

Мои друзья с другого края/света  
За мной следят [с отчизной неодетой] —  
со сволочью торчу, не накурившись,  
харчком сплавляясь с родиной и тризной.

Прекрасна панихида будет этим,  
пернатым, голосащим, как петели  
конюшни, обернувшейся в сараи  
[здесь понимаешь, что не надо рая —

пока вода стоит над огородом  
и разбухает голосом чебачьим  
древесный уголь — так,  
а не иначе

\* \* \*

обиды нет  
бледнеет и темнеет  
холодный сад  
в 13 году

от георгины  
жёлтые аллеи —  
как псы и кошки  
с воздухом в паху

наматывают  
мясо ледяное  
на кости  
неоформленных столбов

где газ по трубам  
как ребёнок ноет  
но кажется ему  
что он поёт

по остановкам  
как ворона мёрзнет  
и кутается  
носом в проводах

калённых электричество  
[как в тельник]  
и топчет ночь  
дырявую в носках

обиды нет  
а делится на трое  
холодный свет  
завёрнутый в сады

и пчёлы спят  
шенками в чёрном торфе  
зажавши в ртах  
куски стальной воды

## LA MARIPOSA DE ARENA

То, что чудеснее речи любой,  
помнит, как бабочка [о] камень билась  
[вместе — с хранимой под сором — водой] —  
так и скажи, что она сохранилась

в тёплой смоле, как селенье в глуши,  
будто летая, латает подбрюшьё  
божьему небу — в котором дрожит  
белым хитином хранимо снаружи.

Но ничего не случается, что  
может озвученным стать — переносным  
смыслом. За контур — усни, инженер,  
слесарь-сантехник бабочкам водным.

Чувствуешь [?] — что эта бабочка внутрь  
смотрит, себя разбирая до страха —  
словно из камня сбежала уснуть  
в тминых пустотах своих — там, где влага

небо построила — не по себе  
богу, что бабочке может присниться,  
то, что чудеснее речи, и снег  
в камне за ней продолжает кружиться.



\* \* \*

Передавая хлеб по кругу,  
Как чайки гальку клювом в клюв —  
Мы говорили с жидким богом  
Своих друзей, чужих подруг —

Определёно и неточно.  
Из ямы в детстве и земле —  
Казался хлеб и мне порочным -  
Сгорая спиртом на столе.

Передавал нас хлеб овальный,  
Прозрачный на зрачок слепца,  
Как гальку, как глоток печали  
И срез на пальце у жнеца,

Он говорил за нас не дольше,  
Чем воздух бился у виска —  
В мякину обращая слово,  
Скрипела чайками доска,

Скрипела этим жидким хлебом  
Связав на мёртвые узлы,  
Как жидкий бог чужое тело  
с таким моим.

## БЕССОНИЦА

Вывернув себя до дна  
этой родины пустынной,  
возвращаешь благодать,  
благодарность и другие

нищих сумерек детали,  
и бессонницу — с водою —  
выжимая свет на тени,  
где вернулся за собою,

выжимая льда сухого —  
углекислый выдох в бледный,  
пролетарский, бля, посёлок.  
Слушаешь: [из шахты] медный

колокол — перевернувшись,  
ищет звук в своём обломке  
горлышком безязыковым  
он плывёт здесь с музой тонкой

возвратившийся, как блудный  
сын в отцовскую могилу,  
с тощей бабою бесплодной  
он плывет в пивную жилу,

в купоросные разводы  
смотрит, в родины пустоты  
возвращает, к потной жажде,  
чтоб задать вопрос мне: кто ты [?]

сын в отцовской яме роет  
языком немного света,  
чтоб оставить всякой твари  
своё место без ответа.

\* \* \*

но будто вся вода не здесь  
но будто уточка взлетела  
палаты все перевозмогла  
и села рядышком у тела

как пела здесь вода когда  
пернатый выходил народец  
из камыша едва дыша  
и глядя в небо как в колодец

лежал и я меж сосен трёх  
и наблюдал как эти дети  
горят передо мной и там  
из вёдер говорят нет смерти

и жук июльский говорит  
перегорает в водомерку  
и смотрит этот боже вниз  
где ртом ловлю его монетку

\* \* \*

с лицом как озеро лежать  
открытым богу и пророку

и никого не износить  
ни ближнего ни дальних — вдоху

еще прозрачная земля  
касается до половины

и даже в этом только я  
возможно как зима повинен



храню свою ещё вину  
и ей за всё я благодарен

и принимаю что живу  
как и потоп со всех окраин

\* \* \*

Листья слетают.  
Как бы последние гнёзда  
небо покинет троянского  
[в яблонях с инеем] льва —  
старый мальчишка  
сидит на скамейке так близко,  
что не касается  
длинным дымом меня.

Только и будет теплым  
портвейн неизбывный —  
что поцелуй первой  
девочки там, где репей.  
Треск стеарина  
углов можжевельника — троица  
гусениц жирных.  
С запрятанным в кожу крылом

листья летают [как бы  
покинуты гнездами].  
Благодаря этот дым,  
за которым ведом,  
старый стоит, как мальчишка  
троянской всей конницы,  
и под копытом его  
растёт новый дом.

\* \* \*

И ослепителен был свет  
ремня у самой-самой смерти —  
так не давался мне ответ,  
когда ей прибавлял отверстий,

когда ей в кожаный хомут  
втыкал я «жили-были вроде»,  
заглядывал в свою же жуть,  
конюшни пугая с подводой.

Лежал в песке и языке  
и, ослепительнее русских  
стреляя у земли махры  
из торфяных карманов узких,

смотрел в её своё лицо,  
расколотое рыбной стаей,  
и ослепительное то,  
чем кожаный хомут мой станет,

когда я этот свет возьму  
одним глотком для перевоза —  
как стыд, который без меня,  
как смерть, останется бесхозным.

\* \* \*

Что близко мне? — скажи. Лежит  
река под спешкою забора —  
и тёлок местные коржи,  
и кулинарный запах бора.

Такая тёплая земля,  
что тает, в СО2 сбегая,  
туда, где нет ни островка  
и где обширны грани рая,

и лает близкий, словно дождь —  
даждь нам насущное на днеси —  
на дне живущий ангел мой,  
он отражение завесил,

он светом свет на тон закрыл,  
и лепетал творимый воздух,  
лепил, что я в ларьке убит,  
и понимая, что не поздно —

я говорил ему в ответ,  
что рай начнётся, будто волос,  
у сына моего в виске  
останется понятный голос,

понятный мне или ему —  
и в этом видится причина,  
что ветер режет мандарин,  
когда его еще не видно,

что человеческий язык  
мною отдан на границе рая —  
и я живу ему в ответ  
и [как всегда] не понимаю.



\* \* \*

знаешь [?] косяки у неба голубиными глазами  
смотрят как светляк тревожит  
древеса и спит меж нами

как лежит в песок уткнувшись между галькой и травой  
как живёт в моей подошве  
и клюёт её с двойною

моей пайкою ужившись в косяке уткнутом в небо  
в уточке ковчег делит он со мною  
пар от хлеба

и светляк дым расчекрыжит чтобы голубь вышел тёмным  
и читал себя в газете справа снизу  
вдоль колонки

там где небо от оливы вовсе и неотделимо  
знаешь [?] косяки у неба  
вёслами скрипят отлива

\* \* \*

вот чугунная баба  
и кормит она  
грудью прижатой  
полна и едина  
и наливается  
рыбой до дна  
пухлая с голоду  
воздуха льдина

вот на заборе  
висит как живой  
бывший фотограф  
мгновенье запомнив  
вот как топор  
говорит он со мной  
вот эта баба  
меня и не вспомнит

будто еловую  
стружку смахнув  
встанет на утро  
теперь не со мною  
кто-то другой  
но уже за меня  
грудь чугунная  
пальцами тронув

и задрожит  
расправляясь живот  
бабы кормящей  
живыми сосками  
и зазвенит  
черный грач изнутри  
перьями мясом  
дышащим меж нами

## HIJO PRÓDIGO

Так ты крути круги печали,  
наездник воздуха — с веранд  
заходит гость и грудью впалой  
он ищет, как навек пропасть,  
как не вернуться с фронта в этот,  
таджиком занятый, свой дом,  
как вырастить на коже нечто  
(возможно холм).

Наездник всей богемы нашей —  
он помнит, как коса прошла  
по головам у маргиналов  
и жизнь прошла,  
ушла давно за половину,  
за распитой язык-стакан  
и от сирени, как волк, дикой  
гудит титан —

он воду греет чёрной бани,  
он говорит, как Пушкин, нам:  
крути, верти свои печали  
по головам,  
наездник, воздуха глашатай,  
почти что холм,  
отставший от своих же братьев,  
спи языком.

\* \* \*

По эту сторону болезни,  
как скукой скроенный медведь,  
мёд ловит знак [своей ладонью],  
стоящий на слепой воде.

Знак, несуразный и горбатый,  
непретворяемый в слога,  
стоит коленями среди ряби  
прозрачнейшего живота.

По сторону сию болезни —  
баюкает и холодит  
его, как будто только-только  
он начал по воде ходить

Насквозь, в растянутой рубашке,  
и три-четыре рыбака  
в кустах, как волки, зашибают  
и ищут — где же здесь река,

где эти стороны болезни,  
чтоб отражались лица их,  
а знак стоит на отдаленье —  
как воды круглые, затих.

Затих, как будто будет что-то —  
незамиримое, как зверь —  
то, что воркует в знаке тонко —  
как пчёлам нежное медведь.

\* \* \*

Вот странные люди  
в зарытые двери идут —  
ни имя не вспомнить  
ни шорох, что эти поймут,  
как падает время  
из малых прорех,  
и бабочкой бьется  
о лампу свою  
человек.

Вот бабочки странен полет  
или страшен — пойми —  
что вскоре мы ляжем  
у ней на пороге — колья  
[продольную душу  
её] в свои кости вложи.  
Вот странные люди  
идут через ночь  
лошадьми,

и лошади ноздри шевелят  
[как смертность] хрустят  
и кормят седыми сосками  
людей, как котят.  
И кормится их разговор  
уходящими в дверь:  
спросить — не ответят  
они, что горит в листопаде  
за зверь.



\* \* \*

Колелбетя ли свет,  
подвешенный на трубах  
печных в домах ночных,  
шагающих в стадах  
на водопои тьмы,  
сколоть колодцам губы  
за страх увидеть нас  
в протянутых руках,

в местах густой воды,  
которой древо просит,  
склонив свои четыре  
животных лика в дым,  
где дом шагает в воды,  
в которых вырос лосем,  
как осень, обнажая  
четыре головы.

Колелбетя ли свет  
иль колебим подсвечник,  
или рука его  
держашая дрожит —  
за мною ходит лось  
и древо сквозь кожу  
растёт, как светлячок,  
в четыре стороны.

## ЩЕГОЛ

Кому-нибудь покажется: ты спишь,  
в отверстия у сна сопишь, свистишь —  
щеглиный голос, полый, как сова,  
начавшись ночью, но едва-едва  
притронешься к нему, и улетит.  
И там, в подполье, ласково болит,

и кажется, что обретает мясо  
щекотный голос в ивовом заборе,  
он вышел [как впервые] из Миасса,  
чтоб перейти, как марсовое поле,  
всю скважину бездомного замка  
и спрашивать потом: как там, на воле?

Ты — опыт сна. Кончаешься, как голос,  
и продолжаешься, как слух и собеседник  
всем мёртвым языкам, лишённым смысла,  
зато красивым, как и все руины,  
и крынка разливается в молочных  
телят, которые плывут на белой льдине,  
в телят, которые [как речь твоя] неточны.

И если ты взмахнешь: рукой? крылом ли? слухом? —  
то мир изменит снова наши лица  
и голос гол, почти как ожиданье,  
и думает: кто и кому здесь снится?  
Точнее — где? Сиди же на заборе,  
даруй мне свист, отверстие, подполье,

любого сна подвал, квадрат [почти, как птицу,  
что удивлялась нам, способным мниться  
то отраженью на слепой воде,  
то водомерке в зрячей полынье,  
в той половине мира, где идёт  
любой щегол и лица спящих пьёт].

\*\*\*

То, что лежало на ладони,  
хрустело яблоком на свет  
[глазной] распахнутой пчелою,  
как донник, павший на столе.

Сгорает кожа восковая,  
как лепет нас клюющих птиц,  
в ребёнке под столом сужаясь,  
и донник говорит: простись,

на дне у неба, прижимаясь  
плотнее к темени кругов,  
я слышал, как с меня снимают  
[как с древа яблоко] засов.

Там я лежу на дне у света —  
пока расходится волна,  
хрустящая, как волн пометки  
на ткани тёплого ствола.

И чем мне светит скатерть эта,  
когда в хруст руку протянув,  
взлетает яблоко [глазное],  
пчелу и донник взявши в клюв?

## КОЛОДЕЦ

*Руслану Комадею*

Ты всё провожаешь свои голограммы в шиповника ад,  
который в себе вышиваешь, на память, как линию рваную рта.

Гляди — просветлеет колодец, и гонят быков —  
ведь рай это полость — беда ли, что мал? Это всё.

Чтоб хлеб подавал бледный знак — что в твою Чилябонь,  
как малое стадо пришел телеграф — но уволь! —

там гонит колодец быков, как бы кровь чистотел,  
шиповник растёт через звук, меж своих же ветвей.

Есть мокрый двойник у быка. Он — колодец, он — чист,  
растет из шиповника, с горлом, разрезанным вниз.

Светает двойник, как фонарь, освещает свой рай,  
где гонят быков, чья спина распрямилась в трамвай,

врастая в шиповник. И больше не вправе стоять —  
шиповник, колодец и бык в свои ветви летят.

## РИСУНОК

повис над нами пловец синий  
певец одышки и гомера  
вокруг посмотришь много глины  
а остальное всё — химера

ключи скрипят внутри у скважин  
как будто женщина полна  
мужчин и Бога по порядку  
выводит в озеро она

и за пределами пристанищ  
гудит солёный звук дождя  
наверное и мы дождались  
пловца фонарного в костях

ключи скрипят внутри у скважин  
как будто женщина полна  
мужчин и Бога по порядку  
и грудь её как смерть — тесьма

и у рисунка вот такого  
сверчок под сердцем замолчит  
чтоб слушать как Гомер с Химерой  
под глиной слушают ключи

ключи скрипят внутри у скважин  
как будто женщина полна  
мужчин и Бога — в женском платье  
идёт навстречу ей волна

и покидаются причины  
её открытых берегов  
и смотрят внутрь её мужчины  
соображая: кто из трёх



\* \* \*

Так вырой же тьму из могилы,  
чтоб — как колыбель —  
качалась она средь стеблей  
предрассветных стрижей,

сгоняемых скрипом сосны  
в навесные углы,  
стучащейся с нашей  
прозрачной, как мы, стороны,

что вырыла нас  
и лопаткою птичьей звучит  
над каждой цикадой,  
как будто хозяйка бренчит

в прихожей костями, детьми —  
разменяв лишь лицо, а не цвет,  
начавши с конца,  
поскольку сначала нас нет

ни в кадре, ни в клюве,  
ни в этом фонарном белье.  
Как будто есть тьма —  
мы себе ковыряем бельё

Стоим у сосны между бёдер,  
поднявшихся в свет,  
кроша в темноту, то, что  
[после прошедши] кольнёт.

## ДИАЛОГ

Порезавшись крапивою сухой,  
ты дышишь, удивляясь расстоянью  
с её молчанием, и спелый перегной  
земле передаёт своё дыханье,

крапиву он роняет в небеса —  
и верится пока ещё крапиве,  
что есть в её молчании леса,  
строения (и что немного кривы

все эти построения её),  
что дышит Бог в рыжеющий затылок,  
что перегнутой когда-нибудь спасёт  
пуская сок в какой-нибудь отрывок,

в её порез, который, как язык  
зелёным хлорофиллом мокнет  
в горле,  
её порез с моим заговорит,  
и их молчанье долгое умолкнет.

\* \* \*

И вот ты раздвигаешь двойника  
через тростник, в котором он клубится,  
ещё туман [почти что не вода,  
а ключ от птицы, что ей не разбиться

даёт возможность]. Говорит со мной  
двойник соломенный, садящийся на плечи,  
саднящий горло — вот, как божемой,  
тростник меня раздвинул вдоль и лечит,

выращивает мокрое лицо, шагает по лицу  
как бы в печали, и август смотрит  
пристально за мной —  
кутёнком, заблудившимся в причале,

чтоб слышал я, как шелестит тростник,  
олений глаз закрыв наполовину,  
и мокрый, словно смерть, двойник журчит,  
меня [перед собой] как дно раздвинув.

\* \* \*

Свет кожу стирает дочиста —  
кто ходит на месте пустом?  
Его ремесло переносное,  
как бабе, вносить меня в дом.

Внесёт и забудет на время  
в среде голубиных людей,  
накинёт на яблоню темень,  
царапая горло ветвей.

Меня поцарапав однажды,  
как будто котейка, дом-шар  
воздушной и смертной жаждой  
смотрел, как (его ли?) душа

выходит из яблока красного  
и светится, где за окном  
дом в стороны все расширяется,  
идя за своим молоком.

Его ремесло непонятное,  
Как бабе нести меня в сад  
Где пчелы звенят пузырятся  
Под кожей, желая назад,

где дождь вырастает из яблони  
и падает яблоней стать,  
где голуби клювом стараются  
под кожей меня отыскать.

\* \* \*

Откроют листья золотые рты,  
зарубки оставляя в каждой щепке  
воздушной [бог заточит топоры]  
и по воду пойдут — как будто бросил  
их этот август бронзовый в себя,  
по кругу охлаждающему ослепнув,  
своё изображение деля  
на хлеб и воду, прижимаясь к древу  
осеннему, зеркальному, как тьма,  
где птичий бог прибился к лесорубам  
и загорелся [и язык принял] —  
как листья, рыбы в нём плывут по кругу,  
и открывают золотые рты,  
и немоту себе [как вещи] просят  
[листвяные], и срубы, и плоты,  
и август бронзовый в себе  
[как в вёдрах] носят.

\* \* \*

Вот осени пирог, как шар,  
печёт Сентябрь. Из живота  
его вытаскивает дёрн  
зима, с которой он сплетён

через меня, через мои  
всё выжигающие тьмы,  
через позор и тишину  
мою, в холодную страну

он пишет из меня письмо,  
печёт жену мою и дочь,  
как мягкий снег, мясной пирог  
он катит в шаре пред собой.

Вот этой осени пирог —  
садись со мною, ешь со мной  
мой рай кромешный изнутри,  
с зимой забитый в сапоги.

Кати меня земле под дых,  
как будто пёс оставил штрих  
на этой выжатой тропе  
в сосущей птицу высоте.

Скорми меня, Сентябрь, скорми  
шарам, гудящим изнутри —  
подобно ульям и вагонам,  
нас покидавшим, как дорога,

с которой осени пирог  
в кромешный рай глазеет мой.



## ПРОГУЛКА В АВГУСТЕ

-1-

Входя в мой дом, как тень остановись —  
на роднике, в котором прячет ключ  
[звнящий в связке] тусторонний сад,  
как август, спрятанный среди калиток туч.

Ты не найдёшь — вот стой теперь, как тень,  
как бы вода, обретшая кувшина  
[пусть гипсовую] кровь — что тоже кров,  
[пусть речь] скрипящую из каждого мужчины.

И длинный пёс берёт мой страх из губ  
[начавшегося с тени] листьепада,  
но [глаз не поднимая] видит он,  
как зреет камень в дурочке, и надо

всего лишь — оглядеться и поднять  
с земли свою [еще совсем не горсть]  
золы, что в птицу развернулась и пропала —  
как [между берегов повисших] мост.

Входя в мой дом, припомни, что в меня  
обёрнут ключ от голоса и смерти,  
что в роднике, в уключине [не смят,  
но говорит] меж нами некто третий.

-2-

Входи в мой дом — пока ещё ты контур —  
как сад посмертный, не обретший плотность,  
как ртуть с ладони, склеванной вороной,  
переметнувшейся снежком в иную плоскость.

Входи в мой дом нелепою наградой,  
скрипи в калитке, как дрова в сарае,  
чтоб контур становился этот ближе,  
чтоб знали мы, что плоть [и так] сгорает.

Мой бедный родственник,  
двойник воды бинарной,  
свою ладонь в сад погрузи, как лики  
раздвинь воды колодезные створки,  
за мытые твои/мои ошибки.

Входи в мой дом, с вещами разминувшись —  
за сквозняком следы не прибирая —  
пока ты контур для смертельной жизни  
и выглядишь как я [совсем банально] —

Греми, как Данте в зимней погребушке,  
чтоб контур твёрже стал и нас однажды  
оставил так, как оставляют сад свой —  
уткнувшись шкурой в шкуру,  
краем к раю

воды, где [приближаясь к отражениям]  
два контура свою же смерть теряют.

-3-

Мы потеряли смерть свою,  
которую — то я пою,  
то бабочка в ладонях  
у сада — что потонет.

За садом тень его стоит,  
как дерево и запах лип  
[нелепое создание,  
которое с названьем

своим приобретает смерть].  
пока что мы учились петь  
почти что соловьями  
[и думали, что сами]

в ранете жили муравьи,  
и, расширяясь изнутри

в пупе земном,  
как норы —

они мастрячили нам дом,  
вокзал и сладкий тлиный ком  
совали в подъязычье  
[как будто дело в личном].

И тень — нас потерявши здесь —  
водила свет сквозь тёмный лес,  
как бабочка, что тонет,  
сверкая сквозь ладони.

\* \* \*

Алексею Сомову

Что птица волочёт в своё гнездо,  
растягивая А почти до О?  
Что бывший адрес твой, что этот новый —  
недостижим, и прячется лицо  
среди других, в даггеротип словлённых,  
где голос стал уже твоим вдовцом.

Он в комнату проходит, натываясь  
на форточки - кто палочкой стучит [?]  
с той стороны, на всех нас — разрываясь  
пока пиздато эта смерть торчит,

пока, как запах хлора и мочи —  
летает с этим, перьями зажатым  
(читаем «Смена-8М») — все три ночи  
(совсем не ночи — синий под халатом,  
снимая с нас, как с вешалки бельё,  
гнилые голоса чужой фонемы,

и дождь с землёю под язык кладёт,  
и хлеб размокший на язык кладёт  
земля парит (а смыслы также темны,  
но не темны) — засвечены тела.  
Теперь, как бы Аид, стоит Сарапул  
и поедает [как бумагу] всё,  
переиначив, забираясь на кол.

Но вот, что очевидно — понедельник  
шагает в ряд с тобой всегда налево,  
не с той ноги и стороны ты встанешь  
нашупывая рядом своё тело —  
и вылетает смерть, как будто птичка,  
и диафрагма в ней как бы табличка:  
закрыт даггеротип — портвейн  
ушел на фронт.

II  
ТЫДЫМ

\* \* \*

Где деревянно кровь до октября  
стучит — внутри у дерева, как ложка,  
с морозом пальцы наизусть скрестя,  
и смотрит [как в лицо] с его окошка,

как здесь, наевшись почвы, в высоту  
у яблони прорезывая крылья,  
вдоль веточек нахохлившись, плоды  
сидят так, что — и кровь совсем не видно.

Поют [как человечьи] голоса  
у дерева согретого плодами,  
и кровь, скрутившись в яблоне, у дна  
летит, мороза почву, перед нами.

## СРУБ

в срубе ручном узловатой зимы  
запотело стекло

кто-то с иной стороны  
лизет дно [теплым ртом

режет от неба язык  
он кусок за куском]

то деревянной пилой  
то дрожащим ножом

ходит по кругу воронки  
пернатый как треск

и [беспросветен как горло]  
светящийся лес

\* \* \*

И запрокинув голову  
[пока что без лица],  
в круги по небу пялится,  
как камень, детвора,  
и птица возвращается  
в качели [как бы смерть],  
и лица нарисованы  
в лице её на треть.  
Но, запрокинув голову,  
стоящий в небе том  
дом раздвигает в стороны  
лицо, чтоб смыть дождём,  
чтобы стоять неузнанным  
в каких-нибудь углах —  
пока незрячи дети,  
неся, как камень, страх

и, запрокинув голову,  
в качели плачет смерть,  
что ей лишь умирать здесь  
[совсем]

одной за всех.



\* \* \*

Он медлит избавлять от скорби —  
накормлена земля, в боках

дрожит и дышит, будто пёс ей  
растает в рёбра, в берега

как будто бы растает ива,  
точнее тень её растёт,

и тянет рёбра рек, лениво  
кадык воде поспешной рвёт.

И линза из незрелой крови,  
как из гнезда упав, дрожит

в птенце, врисованном псу в брюхо,  
что в водах вспаханных лежит,

где тень, застыв на середине,  
перезабыла диалог,

бог возвращает — как молитву  
и иву — долг.

## НАТАЛЬЯ

Покажется, что снег с землёй делим  
на человека и пустое место —  
проходишь через тень свою один,  
и та парит [как будто бы из теста].

Покажется — что тронута рукой  
уже нашло скрижали нашей смерти —  
покоя нет — но, если есть покой,  
то он всегда в оставленном здесь месте.

Идёшь на холм иль спустишься с холма —  
всё кажется, пока перевозима  
сквозь тьму и ночь — на поезде душа,  
на лодке [в старике] как руки длинной.

Покажется, что снег съедает смерть,  
как будто тени заметает крошки,  
что сокрушимы Бог и человек,  
когда уже почти что осторожны,

и что, спускаясь с неба, голоса  
нащупывают в горла тьме несносной  
зерно проросшее — чужое, как глаза —  
переходящее из местности сей в поздно.

Покажется, что снег в земле лежит,  
и, что земля лежит внутрь человека —  
чья тень оторвой сквозь меня летит,  
по стороне ребра глухого света,

что выгнута, как лодка, почва здесь,  
и снег всегда идёт наполовину,  
что в свете есть твоём — моя вина —  
и с ней не умираю я — а гибну.

## БОГ

Нет ни меня, ни тьмы  
и даже света нет —  
а только тонкий глаз.  
И в щёлочки просвет

Он смотрит на меня,  
а я смотрю в Него,  
и, кроме наших взглядов,  
здесь нету никого.

\* \* \*

Когда почти освоен диалект —  
кыштымский, привокзальный и небесный —  
меня уже почти на свете нет —  
хотя, возможно, это я на снеге  
сную то снегирём, то воробьем,  
жую снежок в руке своей трёхпалой  
и пролетаю под пурги метлой,  
чтоб словеса казались слишком малым.

Поспешным чудом будет весь декабрь,  
когда все яблони цветут холодным снегом  
и отрывают ноги от земли,  
переступая с пяток на носки,  
как бы мерцая между этим светом  
и тем, другим, горящим за спиной.  
И треском [уходящего вдоль сада  
дыхания пернатого метлы] закончится  
весь мой словарь земной —  
и чуда большего мне на земле не надо.

И чуда большего нет в птичьем языке —  
лететь сквозь местный и мясной, скрипящий,  
горбатый и молчащий, красный снег —  
от паровозного гудка в ранет летящий —  
и там — вполне освоившись — словарь  
всё ковыряет свет, как будто с сосен  
снимает кожуру [возможно, бег] —  
и чуден день его, год — високосен.

\* \* \*

*Дмитрию Машарыгину*

Вот неба свет — какой-то не такой  
ты, друг мой, возвращаешься домой.  
Сентябрь тебя читает через дождь,  
через тире и точки, точно дочь —  
тобой забытая в метро — всё ждёт Аида  
и понимает: ничего не видно  
и не бывает дна у всех времён —  
хотя и всадник блед уже прочтён.

С тобой ли Бог, мой друг? или засада  
нам зачтена за выход из детсада,  
и небо пьёт в песочнице с листвы,  
и не бывает никакой Литвы,  
и речь не говорит о возвращенье.  
Пылает столб шиповника внутри  
у ЧМЗовской пацанвы вечерней,  
у бородатой этой мошкары.

Вот неба свет — прими его таким,  
ломающимся, словно изнутри  
его к нам лезет Бог и видит всё  
прозрачным, как шары и огород  
осенний, голый — будто ангел весь  
его покинул, а не улетел,  
искать лепить (хоть глиняное) горло  
чтоб говорить покинувшему лес,

что входы все в метро, что снег надолго,  
что возвращаешься ты, умирая здесь,  
что столб внутри — шиповника не стоит,  
хоть и сгорает тридцать три часа  
подросток в этих вышедших по трое  
на поиски для каждого отца,  
что в сентябре вокруг одно лицо —  
вот неба свет и костяное слово  
в тебе текут, рекут тебя сквозь свет —  
и плавится свинец, вливаясь в горло.

\* \* \*

Ломается так голос у подростка,  
что в дымную воронку головой  
врос, как открывшая, что смертна  
вскоре, почка —  
еще не ставши веткой,  
но другой

не хочется ей быть —  
возможно плакать — пока весь мир  
так близок и несом —  
подросток носит голос,  
нож запасный,  
ломаю смерть, как ветку,  
колесом.

Ломая голос — то есть ветку, ветку,  
что в дымную воронку топчет ночь,  
не допуская, что и та — бессмертна,  
как перочинный голос,  
в смысле — нож.

\* \* \*

Зеркало запотеет — заглянешь с другой стороны:  
кажется, что стоишь ты на глубине Невы,  
на глубине Исети или иной травы —  
выберут эти сети белые рыбаки.

Будешь лежать на блюде, как на ладонях их,  
вывих инакой буквы, оставив как часть кожуры  
чашки своей, расплескавшей воздух по берегам,  
осколок безводной чаши — только увидишь: там

зеркало запотело — а рукавом ототри —  
лице своё не видишь, снаружи и изнутри  
всё в казаков играют стрелочки и штрихи,  
рыбно на рынке, людно на глубине реки.

\* \* \*

Все дольше утро и туман  
длинней быков в холодных лужах —  
едва покажешься ты там  
и вот опять кому-то нужен  
ты здесь. С какой бы стороны  
не посмотрел — но видишь пегих  
синиц, что у себя в груди  
совьют кормушку и гнездовье,  
чтоб оказавшийся внутри  
туман лежал у изголовья.  
Так говорить за свой Ты-дым  
я обучался — глядя в чёрных  
быков, что в капельках росы  
росли и пухли, словно розы.  
Все дольше утро — тише слог —  
тумана нет или не виден —  
лежит лицом в огне пророк —  
как будто бы плывёт на льдине —

и наблюдает: как быки  
теряют листья в эту осень,  
и на веревочке тоски  
с собою пастбище уносят.

\* \* \*

Потянуло патокой от фабрики  
и бараны водят хоровод —  
георгины, павши на колени,  
молоко пьют в утренний живот.

Подмерзают груши и боками  
колокольными и медными звенят —  
от ночи неприбраны, как женщина —  
лампами в земле с водой лежат.

Ангел лижет языком (шершавым ли?)  
август с молоком в своих боках,  
смерть и воздух кулинарной фабрики,  
рёбра чьи прозрачные дрожат.

Груша упадёт, сентябрь рассыплется,  
оставляя звук на языке —  
георгин горит, как будто ижица,  
удивляясь Богу налегке.

\* \* \*

Распрявленной осени спина  
в городе лежит как бы волна  
от упавшего в степях метеорита.

Горлом пересчитывал людей —  
сбился где-то в окончанье сотни,  
дальше начиналась снегирей

стая, что клюёт ранет свинцовый,  
утренний, замерзший в зеркалах —  
осени спина дрожит уловом,

прибивая, словно доски, страх  
к берегу дождём или приливом.  
Распрявленной осени спина



клёны плавников несёт, стыдливо  
покрываясь чешуёй до дна,  
чешуёй листвы до дна сосуда,

чей уход до брызг благословен —  
осени спина плывёт уловом,  
и не стыден этой рыбе плен.

Доплывёт и вынет у порога  
жабры, крылья, торф и плавники.  
Горлом пересчитывая шубы,

дым стоит на глубине реки  
и плывёт от нас по распрямлённой  
там, где снегирей стоят полки,

где рыбак на мир неискривленный  
всё рыжеет, смотрит  
— как мальки.

\* \* \*

*Н.*

Мне нравится, как дышит в ней земля  
парная, молоком переполняясь,  
как ей сплавляется, как новый дом, листва,  
в прозрачный лес как будто ударяясь.  
И в этой недалёкой красоте  
её — хорёк, готовящий зимовье,  
опилки чешет на дырявой голове  
и говорит ей: только не сегодня.  
Мне нравится, как ЭТО говорит  
моей жене ЖИВОТНОЕ под солнцем,  
мне нравится и, что она молчит,  
переполняясь молоком сегодня,  
что к ней падёт [и скоро] вся листва,  
прозрачную землёй переполняясь,  
что смерть сегодня снова неправа,  
что речь о ней всего лишь показалась.

\* \* \*

Вот холодает — ангелы, как снег,  
ложатся в землю, обнимают это  
покоище камней и рваный свет  
корней, упоминающих про лето,  
когда зимовье было их пустым  
и громко колыхалось изнутри  
в скалке исчезающего ветра.  
Вот холодает — мы ложимся в свет,  
впечатанный, как перья, в тёплый гравий,  
и пятки ангелы щекочат из земли,  
и шепчут нам, что всех предупреждали.

\* \* \*

В срез неба заглянул — а там колодец,  
свернувшись, спит высокою водой,  
  
и пахнет шерстью лёд — и свитер носит,  
и дышит за звездой неживой.  
  
И смотрит на меня — чужой, обратный,  
голодный свет и лижет языком,  
  
у мальчика — старик есть, и собака  
кусает сруб своим кривым плечом,  
  
у языка — порезы, и собака,  
порезы неба чует тёплым ртом,  
  
у старика спят мальчик и собака,  
и он глядит в них, как в хозяев дом.

\* \* \*

Голову ангела в вёдрах несу —  
словно соломенный ломоть отцу,  
как неродному пернатому дядьке,  
как с языка ошалевшего — взятки,  
осень, что женщина улицы вдоль —  
в львиное блюдо над головой

люются в солому помятые птицы  
тёмных огней — их костей вереницы  
кашляют, вёдра царапают и  
голова пилят, как лужи, людьми.  
Только посмотришь — как в ангела скальпель —  
дождь опускает — в остаток от капель

незамерзающего ноября —  
это считай что твой ангел на птах-  
детей разлетается, видя отца —  
из головы, из ведра, из гнезда  
жидкий отец собирает свой прах  
— крутит молчанье и курит в Потьмах.

\* \* \*

Что ж, счастье есть в домах, где кровоток —  
к себе призвал невидимый сквозняк,  
где едешь ты — с вагонами далёк —  
и белый смех, упрятанный в санях,  
сопровождает в тот поток тебя,  
в примерный (даже сказочный) сугроб,  
и смерть касается тебя, как живота,  
предчувствуя рождение твоё.

Счастливая роженица — ты, смерть,  
вот кокон сброшенный лежит уже в снегу,  
и мы с тобою, растерявши твердь,  
как будто в хирургическом раю  
подслеповато шуримся на свет,  
топорщим крылья, учимся слогам,  
молчанию, которое в ответ слагает тот,  
что подобает нам.

\* \* \*

Печален облик из окна  
промокшего — зима ли ждёт,  
что выйдем мы из дома на  
холодный воздух, обожжет

мою стареющую кожу  
зима, в которой Пушкин спит —  
печален вид и невозможен —  
как ложка длинная лежит.

\* \* \*

метафизический свой сад  
я описал бы так что циркуль  
своё гнездо же разорял  
и видел нас в зверином виде  
как будто нет обид и я  
пока не разучился плакать  
в свой детский лик —  
в любую гайку  
метафизически мой сад  
стремился бы к архитектуре  
которую бог создавал  
но кто нас видел тот отрубит  
свои же руки и протез  
неся в обрубках и на блюде  
я говорил не о себе —  
о метафизике — пусть будет:  
во тьме такая пустота  
чтоб все пустоты возопили:  
не надо больше языка  
пусть нас лицо как зверь забудет

## ΘEOGONIA

Здесь жабой валится октябрь  
в зеркальный пух своих смертей  
в свой перепуганный финал,  
летающий третьим меж зверей.  
Здесь между слабых изолент  
перемещает он в свой слух —  
меня и тех двух-трех парней  
которых тоже не найдут.

Куда ушли они с петель? —  
прекрасен висельника вид,  
покуда жалобны — как дверь —  
синицы тёмных аонид.  
Кого ты выдумал, октябрь,  
пока ты смотришь на меня  
и замышляешь мне язык,  
и чертишь крестик по полям?

Октябрь, прикинувшись толпой,  
обходит голос, словно ВОХР,  
он сторожит с винтовкой смерть,  
шевелит лужей, как губой.  
Я в тонком жабьем клюве сплю,  
в зеркальном пухе на свету,  
и тень играет с детворой —  
как бы соломинкой во рту

дитя твой ходит во дворе,  
и цвиркает кузнечик вдоль —  
и будет детство, будто в рай  
Октябрь впадает исподволь,  
неся в руке своей цикад,  
как будто, если обопрусь  
на воздух, падаю в свой ад,  
где с отражением столкнусь.

## ТЫДЫМ

-1-

В предсердии у форточки живет,  
корябая, как иволга, живот  
стене, и плачет тихо сквозь фотоны,  
галдя на огород, как идиот..  
Но ничего не будет — он сюжет  
разбил на фразы, из фарфора жертв  
извлёк на свет жену мою, Наталью,  
и несколько [без имени] детей,  
и плавал между бёдер, как форель  
порой касаясь кожи тёмной жаброй,  
безмолвною тыдымскою толпой,  
чтоб сообщить, что он пока живой —  
хотя не сможет умереть однажды.

-2-

Тыдым, тыдым — из перьев в гнезда  
своих засунул упырей —  
ты вспомнишь иволгу, но поздно —  
лишь кровью плюнет соловей  
на эти дивные морозы,  
на дворника, на ишака  
и входит в город некто грозный  
[и на плечах его река].

Тыдым, тыдым, везущий холод,  
как чушку на своём осле,  
ты вспомнишь иволгу и тело  
оставишь на моём столе.  
Его смахнут на снег метлою,  
сугробы оживут, как спирт —  
и ты лежишь в Тыдыме позднем,  
не принимая, что убит.

## ТЫДЫМСКИЙ НОЙ

Венчая Пана с местной мошкаррой,  
помашет пруд воздушною рукой,  
перебирая анальгины нервно.  
Чем запалился [?] перед нами он,  
стоящий перемазанным мукой,  
с канальей дождевой и прочей скверной

компанией из женских тополей,  
лакающих [как псы] своих ветвей  
окрошку пуховую в отраженье,  
где лошадь, проходящая сквозь твердь,  
разносит бубенцы [как будто смерть  
своё уже признала поражение]

и лепит из снежков своих копыт  
тех, кто до рождества в воде укрыт —  
пока не взрезана в крещение пилою  
она — и чертит круг над полыньёй,  
и человека ищет [под корой  
своею] пруд немеющей рукою.

И лошадь разминает позвонки  
дыша над тёмным видом — далеки  
извилины воды [задышанной и тесной],  
и тихий плотник или местный Ной  
идёт по воздуху со всей своей семьей  
под мошкаррою снега занебесной,

несёт свой род, как сосны, издали.  
И отрывает лошадь лепестки своих  
голяшек, чтоб семье ответить,  
приветствуя освобождение вод  
и только бубенцы всё наперёд  
молчат и знают, и звенят беспечно.



\* \* \*

*Сергею Ивкину*

Я научил ад говорить, собой  
как манной кашей, липкой и губастой,  
его перекормив — своим одним  
присутствием и чёрно-белой пастой.  
Такой пленэр на выезде, такой,  
что, проведя по воздуху сухой  
рукой — царапины оставишь в известковом  
его нутре. Точи же кисть, малыш —  
его пораним мы — как бы кишмиш  
топча то босиком, то сапогами,  
то доставая с помощью старух  
обрубок воздуха в котором не заснуть,  
то еблей занимаясь в быстрой ванне.

Иди со мной скорее, дурачок,  
мы рисуем топь, электрошок  
внутри зеркал коцитовой конюшни,  
и наши мамки, ад переведа,  
застанут сад, ничо не говоря,  
из живота достав щенков, как лунки —  
мы полетим с тобой сквозь тихий ад  
крольчих, щенков с оленьими глазами,  
переводя на русский славный мат  
то, что они везде успели сами.

Но не сказать, что будешь ты другим  
под этим ли шершавым — что там с ним  
под светом вездесущим, будто чурки? —  
под этим ли входящим, будто клин  
в древесную породу с любой дурки [?] —  
где пацанва проходит сплошняком,  
лакая шнапс провисшими губами  
с ланит, прибитых к косточкам соском,  
как вереница смерти перед снами —  
вишневая по вкусу — будто лёд,  
висящий на ветвях у тёмной спицы

телеэфира местного, что в рот,  
забился, вспомнив то, что мы — ресницы,

что это Бог взирает свысока  
на всех животных с тёплыми глазами,  
и расширяется, как будто свет тропа,  
пока свой ад мы кормим словарями.

\* \* \*

И баба беременно дышит,  
когда колыхается грудь  
у дома из гипсовых кружев  
и вовсе её здесь не ждут  
и жгут синеглазые печи,  
и плачут смолою дрова,  
и светит звезда — смотри — светит,  
и пахнет в пустотах халва.  
Хвала тебе, темный безбожный,  
когда на густой полынье  
твои проступают ладони,  
чтоб небо ощупывать вне.  
И движима баба на запад  
своим кровавым животом,  
где хлев продолжается раем  
и тень открывается ртом.  
... и баба беременно дышит,  
касясь овечьих боков,  
и смотрит звезда ей в колодец —  
с, косматых на свет, облаков.

## ВОСЕМНАДЦАТИЛЕТИЕ

Я начинаю старость, как себе  
мужик строгаёт гроб, когда за сорок,  
когда губа у старших из детей  
увлажнена давлением из сонной

страны, где стая жидких обезьян  
стремится отвердеть до безразличья,  
с которым копать ляжет на изьян,  
как бы мужчина твой косноязычный,

чтоб в форточку альпийскую смотреть  
и приходить в себя ещё все сорок,  
оставленные дочерью мне, лет,  
снимая освещение и морок

с прозрачной геометрии вещей,  
лишая их имён и нашей скорби,  
что скоро станем младше мы детей  
своих, то, что их смерть совсем несносна,

то, что их смерть не знает ничего,  
болтается, как тряпка, и снаружи,  
что дочь уже, почти что мой Орфей,  
меня выводит из себя наружу,

где в каждой линии её худящих рук  
воспоминание о сжатом в поле клёне,  
и негативы длинных тополей,  
как стрекоза, рисуют в тьме поклоны,

где боль сорокалетняя, как свет  
всегда доотвечать стремится больше,  
чем мы поймем из этих длинных рук,  
которыми когда-нибудь уколешь

надутый шарик смертности моей,  
летающей внутри шарика и дочки,  
что расширяется и лает на ответ,

прося то свет из спутанных ветвей  
то ясность, смятую, как слепота, до точки

когда пройдёт каких-то сорок лет  
и женщина, пока что некрасиво  
беременна, несёт меня в руке,  
как в животе в другую половину,

где дочь моя, прозрачная как тьма,  
сужается в клубок или котёнка,  
и видит в сне, конечно, не меня  
а белый шум пурги моих осколков.

\* \* \*

Светает — пробуждаясь — птица горла,  
шифруясь в перьях плавкой черепицы:

у каждого пера — собачья морда,  
и каждой морде пробужденье снится.

Вот угол морды мёртвой разорился  
от — в сеть её попавшего — улова

из шариков дыхания — раздетых  
до плавников случившегося слова.

И звук касается — как языка — дороги  
и пяточок несёт в своём кармане,

шлифует тень, как черепицу — клонет,  
и — как рубец — на эхо глины встанет.

\* \* \*

По ветке воздуха, пускающего корни  
чужого диалекта в мягких лёгких,  
шагает ошибающийся, вовсе  
не нужный — оттого, наверно, лёгкий.

Премудрости крещенского народца  
он выучил, как письма по воску,  
тоскуя, раздвигая снегу губы,  
который, будто тень, в себя убудет,

зарывшись в сумерки, как в голову собачью  
зарылась темнота — звенит, как сдача,  
и машет голубем, звенящим, как монетка —  
попавшись в прорезь воздуха на ветках.

III  
Диагональ

## КАРИАТИДЫ

Кариатида местного пошиба  
запишет моё имя без ошибок  
в своё набитое железками нутро.  
Мы будем спать и видеть ГОЭРЛО.  
Не будет больно, и прозрачны ночью  
любовники — почти беспозвоночны,  
всплывают к берегу и бьются над волной  
миногами. Багровые их жабры  
подмигивают воздуху, и жадны  
они, как дети — вывернутся вновь:  
с изнанки их — спрессованная осень,  
как матрица элады нашей зимней,  
где пьяно коли, славы или зины  
кариатиду кормят над собой.  
И вот с другой, как графарет, картонки  
на пепел смотрит их теперь негромкий,  
в снеговика застывший, Посейдон.  
Он достаёт всех мёртвых из корзины,  
что в изголовье у Кариатиды  
впускает их. В нетопленный свой дом  
они приходят, кости декабря,  
бренчат живыми ложками, ножами —  
ужалят если рыбьих чертенят,  
то их простят, обеими руками  
ухватятся за водянистый свет  
и понесут за ним кариатиду —  
как будто коли, славы, зины нет,  
и будто бы прозрачны и невидны  
любовники на пене горловой  
среди зимы тыдымской и безлюдной,  
где посейдоны сходятся в груди—  
ной боли, и плывут, подсудны  
синюхам гордым, местной шантрапе.  
Кариатиды смотрят из-под снега  
на салютующих вот в этом и нигде,  
и жабрами мигают из просвета,  
и вслед за ними, в валенках слепых,  
слетают на ледянках, будто выпы,

элады дети и кричат в метель:  
— Республика, республика, к нам выйди!  
... и путаются в светлой бороде

\* \* \*

Записывая текст, зима смердит.  
Надув живот пустой свой для аборта,  
надкусанное яблоко дрожит  
и ждёт — как текст зимы — ещё чего-то.  
Его воткнул как в кроличью нору,  
хоры правы всегда до половины,  
до декабря, до херовой земли  
и — до блевоты в алкоголь — невинны.  
О, текст зимы (точнее, декабря,  
точнее, Зины с правого подъезда,  
точнее, схроны, где не умирать  
мы учимся, записывая текст их.



\* \* \*

На высоте, в единственном числе,  
как выход в тесноту своих вагонов,  
стоящий проводник, что помнит тень  
пасущихся навстречу перегонов,  
торчащих, как коровы в черепах  
каменной голодных — с холода и мраза,  
мерцает, словно ужас, а не страх,  
посередине космоса и глаза.  
На вылете из зрения — на миг  
он ощутил, что катится лавиной  
в него исправной жизни механизм,  
которая то кажется невинной,  
то длинной, как финальный ангел, то  
замедленной, как хромосомы в кадры  
сложившись, переходят не на вой,  
на умолчанье голоса. Покаты  
бока дыханья тёмного его —  
он, показавшись зрению, вернётся  
в своё — что несущественно — житьё  
среди руин письма на дне колодца,  
на высоту, которая внизу  
не чуёт дна, проваливаясь выше  
пока летит не контур в пустоту,  
а тёплое ведро — безвидно хныча.  
Он взял с собой назойливых синиц,  
которые с бумагой подгорают,  
пока что их двухкамерные рты —  
в рой медных пчёл воткнувшись  
— в стыд истают,  
пока здесь существует лишь пока,  
смахнувши слепоту в хрустящий хворост —  
гремит, несясь внутри себя — река  
горизонтальная, как изморозь,  
теперь уже не бойся  
осы, летящей из проводника,  
сужающего саранчу до ямы  
которая привыкла дурковать,  
на языке неведомом базлая.

когда её промоченный язык  
ты выучишь — теперь, а не однажды —  
на высоте своей застыв в кирдык —  
как проводник от той и к этой жажде.  
На высоте — единственным числом —  
теперь без имени — прозрачным горлом — снова  
задвигаешь — змеиным языком  
порезавшись о спрятанное слово.

\* \* \*

На шерстяной спине тумана —  
ещё бессовестный — щегол  
гнездо достанет из кармана,  
как осень оказавшись гол.

Он, пар с наркозом распивая,  
сидит в качелях — как словарь —  
то ночь себе не выбирая,  
то понимая, что попал,

то — принимая, что умрёт он,  
когда, набрав на клюв тоски,  
под тёплым запахом озона  
снесут его в своё ни зги

запрятанные мирмидоны —  
на переносице очки  
утроив шерстяной слюною,  
которой не было причин,

которой не было, и — жажду  
разматывая, как словарь —  
висит щегол уже не нежный —  
как смертность, что себе наврал.

\* \* \*

Не в перспективу, а скорей в экран  
воткнулся ангел темноты, в стакан  
пластмассовый и земляной, как боже-  
спасименя, как в живота силки  
свет накрошила дева через кожу,  
с которым под руки однажды полетит.

Без изумления здесь на неё глядят  
подростки, что разучивают взгляд —  
когда вращаются кошачьи их зрачки —  
во снах непреднамеренно легки,  
и успевают погремушки птиц  
стать оттиском озвученным тоски,

когда не-ангелы, которых вовсе нет,  
перелетают из своих тенет,  
махнувшись и причинами, и местом,  
скороговоркой, замкнутой во рту  
со всей смолой, с пейзажем, и суфлёром,  
свою не принимают правоту —

пока вода внутри себя пльвёт,  
как утка, что садится на живот,  
плаценту тонкую перерубая клювом,  
светящимся внутри, как эхолот,  
всё то, что с ними здесь произойдёт,  
там бабочка пронумерует чудом.

Плывя по рёбрам, виснушим, как страх,  
она изобретает новый прах  
и деву, крошки света и попавших  
в свои силки, как бронзовая тень  
эфирных струн, двух ангелов, что зюзию  
пинали под окошком целый день.

И то, что здесь потом произойдёт  
их не касается — втыкается, как хронос  
в розетку, что стоит, открытым ртом

съедающая кожи и стакана полость,  
как утка, что внутри воды плывёт,  
себе вскрывая — за мальком — живот,  
чтоб на гнездовье наклевать в нём хворост.

\* \* \*

В просветах фотопленки негустой  
я вижу руки тонкие — ко мне  
они — по правилам не русского, но Брайля —  
текут и плечи сглаживают тьме.

Ты понимаешь, что не договор  
меня здесь держит? — ожиданье чуда,  
цитаты, что присвоил я себе,  
как будто бы кузнечик — и в том чудо.

И в том просвет — читай: не свет, но дым  
под ледяною коркой, целлофаном  
отсвечивает — стучаясь в окно — как бы олень,  
в мой дом пришедший рано

с той стороны, где жидкие холмы  
растут внутри у почвы — не бессмертны.  
Что хочешь взять с собой? Возьми, возьми  
жужжание воды, замёрзшей в петли

дыхания парного оленят  
в ключах у заблудившегося леса,  
который бродит там, где жест меня  
однажды разомкнет, лишая веса,

в просвете тела различив окно —  
где свет летит вослед, а не вдогонку —  
пока что камень на плече — пернат —  
разматывает, с глаз снимая, плёнку.

## СВЕРЧОК

То неизбывная старуха  
в себя посмотрит через край  
и выдохнет: опять разруха —  
что тоже рай,

то сядет мне слепой  
и тёплый — как шея дерева — сверчок,  
то в дом покажется огромным  
его щелчок

по мягкой ветке. Над морозом  
нас видит сон  
и просыпается негромко  
когда подрос.

\* \* \*

И нереален стыд детей, когда во мне  
они калитку открывают тьме,  
пока бегут, и — стрекоча в стрекозах —  
доют теней осыпавшихся воздух,  
и разминают слепоту в окне —  
перевернувшись камнем на морозе  
выводят мертвецов под руки в не.

Ты не почувешь этого стыда,  
когда они оттуда и сюда  
откроют насекомого калитку  
(скорей сотри, как немоту, улыбку —  
пока течёт холодная слюда,  
слюна божественна и светится, как холод —  
хотя и падает, как снег, а не вода)

и нереальна речь, что говорю,  
баюкая не тех, что жить в раю  
обречены, а тех, что веки срезав,

почти как бодхисатвы, спозаранку  
взглянуть в себя, как бы в воронку, в ранку —  
немеют в ужасе, как будто бы они —  
стрекоз неразличимые огни,  
чья речь молчит, узнав свою изнанку.

Они свердловских этих мертвецов,  
ведут по коридору, как отцов,  
по дырам скрытым в мокром моём теле  
И что мне делать? если полетели  
они — скорей ответ, а не вопрос —  
и двери заперты на крылышки стрекоз,  
которые заглядывают в щели.

Скорей сотри мой влажный свет с плеча —  
кого поют здесь ангелы, смолчав  
заразные, как тёплый Бог, беседы? —  
кто в эти хоры (в норы) кто поверит,  
пройдя в калитку? утерав стыда  
пчелиный рой, кто падает сюда —  
в ребёнка, как душа (хоть может две их)?

## ПЯТНА

И грубое пятно песка на платье,  
на берегу прозрачном без вина  
растёт, как дерево, и тянется обратно —  
за тенью лески — вдоль её спины,

когда грядут крещенские морозы  
и кровь твердеет, осознав что кровь  
ей имя, цифра, код бинарный, доза  
и сада inferнального любовь.

И грубое пятно из тёплой глины  
в котором бьются птица, прорубь, глаз —  
в воде холодной плещется, как окунь,  
однажды проглотивший с жаждой нас.

И мы плывем внутри его, как пятна  
полопавшихся в небо комаров —  
чтобы вернуться в эту кровь обратно,  
на капилляры хрупкие зрачков,

как альвеолы, что уже без лёгких  
стремятся в птице видеть и дышать,  
как рыбаки, покинутые лодкой,  
вдоль за водой её по дну спешат

как тащит скарб свой то цыган, то плотник,  
то тот, который вовсе без пятна,  
то мягкое пятно на гулкой плоти,  
то гул без тела — в чём его вина? —

то рыба кость, что отрастила жабру  
и с ней плывёт по воздуху, чтоб в нём  
из голоса — росло лишь вдовье мясо —  
поймав то голос, то его пятно —

как чайка, плавники свои профукав,  
играет в шашки с резаной водой,

своей бумаги разжигая угол,  
чтоб деревом к себе же встать спиной,

чтоб мир качался там, где эти пятна  
не обретают плотности иной,  
чем грубое пятно в песке без платья —  
то в ширину, то всей своей длиной.

\* \* \*

О, утро осени моей,  
когда могу я говорить  
с тобой в открытое окно,  
хрустящий воздух — как пёс — пить —

где — с окровавленным лицом —  
нам осень мордой ткнётся в грудь,  
в своё витражное стекло —  
посмевши наконец взглянуть —

в до-человеческий язык  
природ отсутствия тебя,  
чтоб намертво обоих сшить,  
в своей гортани шевеля

ключом несмертие моё,  
входило в мой кипящий сад,  
где раскрутило колесо,  
свернув, как вещь свою, назад.



\* \* \*

В три этажа лежащие в воде,  
воркующие будто духи святы, жабы —  
то пальцы неуместные свои, то оды  
по песку — в которых ждали —  
употребляют как хлеба, сосут  
три этажа земли внутри слепящей,  
воркуют, будто дух святой в них влип,  
и светятся в раю, как будто счастье  
им несущественно, а значит и — легко  
делимо, резано на сизом пепелище  
и роют темноту перед собой,

и, мошек разложив как партитуру,  
они берут смычки у мертвецов,  
которые лишь прорастут в осоке,  
уже несут в лице перед собой,  
понятные стеклянным жабам сроки.  
И вот архангел, что спустился к ним,  
за мошкариным роем некошмарным,  
перста всем мошкам вкладывает в нимб,  
и к этим пальцам прилипают жабы.

Им надо говорить, не медля, с ним  
на языке воды безязыковой,  
как колокол и всё, что есть за ним —  
хотя, что есть, то непременно голым  
летит на свет, который мягким ртом —  
как кошка, встав росе на четвереньки —  
кусает то, что падает углом,  
стирая тело, начертанье, плечи.

И что с того, что все три этажа  
пологих жаб, своё несовершенство  
корябущих, не спят — хоть спит вода,  
и оскорбляют тем её увечность.  
И что с того, что жизнь здесь хороша,  
что мертвецы играют им синицу,  
что жабам жалко жизнь держать меж лап,

которая — в итоге — джиу-джитсу,  
что всех задушит тёплая зима,  
которая с архангелом заходит  
в их новый дом, как рождество, когда  
спасает он, хоть повода нет вроде.

\* \* \*

Пока имитирует смерть здесь жизнь —  
точней умиранье её — стена  
ползет и движется вдоль и вниз,  
будто бы свет в ней достигнул дна

и оттолкнулся шестой ногой  
жук-плавунец — полежал и встал —  
вышел, как смерть, из меня другой —  
тот, что под кожей моей шуршал.

пока имитирует смерть стоп-кадр  
и в насекомом гремит со мной,  
с тёплыми банками, рот зажав  
уже некрасивой своей рукой,

чтобы осокой из тьмы сосать,  
в её комариное встав чело,  
чтобы свет из неё собрать  
хотя бы звериный, как чутьё.

Пока имитирует смерть метель,  
детей в кроватях, мою жену,  
я не могу оставаться здесь,  
её оставляя совсем одну,

когда заигравшись со мною в жизнь  
она идёт по моим следам —  
хочется дать ей сухой воды,  
ангелам дать по пустым губам.

\* \* \*

В паренье снега  
видит человек,  
как будто в гнёздах,  
отпечатки Бога

в глазах — у снега —  
очепятки — берег — брег,  
считавший ожидание  
итога

в скрипящей —  
будто лодка — спит —  
качель — раз-два-и три — и  
крылья оторвавши —

у стрекозы — у  
ласточки — метель —  
в парах сугробов — ходит —  
отозвавшись

на белый голос —  
на пчелу — в окне —  
которая лежит, к нему —  
прижавшись —

как будто бы  
в налившейся груди —  
пчелы — плывут — качели  
— земляные —

у зимних ягод —  
склёванных в ранет,  
плывут — край  
задержавшие у света

качели земляные  
в улей свой  
и пальцы — точно камни —  
соляные.

## ПРОХОЖИЙ

*Александр Павлову*

Или ангел отвердел здесь,  
обернувшись в человека,  
или в этом тёмном лесе  
остаётся только веко,  
лишние детали сбросив,  
в облаках летит игрушкой,  
у которой — между листьев —  
взятая на память стружка,  
у которой где-то в пахе  
женщины остался запах,  
одинокий, как мужчина,  
и прозрачный, чтобы плакать.

Или ангел отвердел здесь,  
языком поранив горло,  
или стал он человеком,  
отчего ему так мокро,  
и ощупывает руки,  
незнакомые сначала,  
и солёную щетину трёт  
и смотрит, как причалит  
в первый раз его автобус,  
и, агукая в печали,  
срёт ему на туфли голубь,  
чтоб они не заскучали.

Или ангел леденеет,  
или это веко, вздрогнув,  
закрывает ему двери  
и гулит, уже замолкнув.  
Его улица большая —  
как бы трамвай не по размеру  
удлинится в русалок,  
тащит нахрен, в смысле к небу.  
И в пальто себя закутав,  
смотрит в женщину прохожий,  
как Эллада на цикуту,  
на свою же смерть похожий.

\* \* \*

...но фрагментарна смерть — диагональ её  
похожа на корсет для позвоночных  
изображений хакеров — в кого  
они рядились в матрице непрочной,

когда — войдя в ещё один фрагмент —  
месили Гончарова, с киноплёнкой  
шлифуя в лбах своих холодный пот  
и утонув однажды вместе с фомкой

на середине, что не перейти —  
но можно пересечь и выжечь хаты,  
и что скрипит под сумерки — не дверь? —  
но тоже вполвину виновато...

что даже мамы, наблюдая нас,  
не узнают в падении, конечно,  
того — что пашет, изымая газ  
их сыновей, плашмя бегущих в вечность,

без их советов в позвонки её  
впаявших дочерей своих и тени —  
почти умерших жён — что за стеклом  
своих вагин летят почти безопасно,

И мне — как не поверить — мне тепло  
от их голодной и смертельной фени,  
чья тень маячит стриженным лобком,  
хотя и вовсе это не по теме,

хотя диагональ её ворон, на наш  
тыдымский, непереводама,  
и хакнутая матрица, как дом  
не незаметна, а вообще — безвидна.

\* \* \*

Свой голос задувая в шар  
с той стороны, заградотряды  
не выпустят меня сюда  
из сна, из-за его ограды

достанут тёплый пулемёт,  
трещотку вычурную галки,  
летающей по краю сна,  
не ослабляющего хватки

своей. Своим есть «выдох-вдох-  
игра», в которой взрыв не в праве,  
вспугнуть тебя, наивный бог,  
поскольку стыд тебя поставил —

как дерево внутри своих  
чашоб, надевших панцирь тёмный,  
непроницаемый сюда,  
как сон для верных и бездомных,

замёрзших изнутри, щенков —  
и трёхголовые собаки  
целуют дерево легко,  
переодетое в снов хаки.

Они на белой полосе  
летят в шарах, на безголовых  
погранцах, как бы тоже пыль —  
что хоть толково, всё ж не ново.

И если вдуматься — их сон,  
что задыхается без лёгких  
своих хозяев или волн  
от их, оставшихся на сопке,

плывёт, как в нём плывёт вода,  
с плацентой после первой схватки —  
у роженицы, что стыда  
не стоит — дерева, собаки.

## СНЕГОПАД

Едва застынет зверь мой коридорный,  
отмоет тень полы — оставит поле —  
абзацы по углам — как бы снопы,  
которые замёрзли в этой доле,  
которые рогатый морщат лоб  
и наблюдают спрыгнувшего зверя  
не моего, но имени Его —  
стоят, как чайки в людях и не веря.  
И тот, который вертикальный, зверь  
свет сохраняет в непрозрачном мясе,  
соломенным быкам срезает лоб,  
лицом невидимым своим —  
зиме прекрасен

\* \* \*

Мы смертны — удивительно, что видим  
вот в этом рай, похожий на кустарник,  
разросшийся из переспелых линий,  
из геометрии, в которой разобраться  
не нужно вовсе нам, не нужно — сколько  
не разбираешь — остаётся ветка  
в руках излишняя или от птахи винтик,  
как райская невидимая метка.  
Мы смертны, удивительно похожи  
на этот сад, на дно внутри колодца  
Его, в котором смерть неотменима,  
как Керн, на двух боится расколоться.

\* \* \*

Плачущая стрекоза земли  
машет крыльями — ей говорит: возьми  
что-нибудь от животов моих  
[в каждом запечатан тёплый лик,  
в каждом скручена пружиной вода,  
вырванная в пар из тела льда].

Где многоугольный свет дрожит  
против часовой — ни мёртв ни жив  
[не окрашен в граффити воды] —  
стрекоза плашмя в себе лежит,  
отрывая петельки корней  
лебеды и серых снегирей,

и рисует лик в себе самой  
жирною, как нефть, земной слюдой.

## TRANSFERRING MEANINGS

Не говорящая стихом  
[ещё природная] фигура —  
почти хохлушка или дура,  
гузном жестяным дребезжа,  
пернатое зерно расчешет  
до крови или до крови  
и встанет, как предмет без смерти,  
из древесины и воды —  
как плод в подвижных насекомых,  
что успевают дотемна  
проникнуть в тёплый позвоночник,  
хромые лапки в свет разжав.  
И разровняет уходящий,  
землёй кормящийся, птенец —  
земли свинцовый наконечник —  
одолевая дна венец.



\* \* \*

Свет падает — смотри скорей сюда:  
нет, не борьба — скорее, баловство,  
воды с водой — сансара и беда.  
Два насекомых — третий, как вопрос,  
стоит в углу — всегда в своих углях  
то падая, то оживая вновь  
и говорит, как уточка: не я,  
а только смерть моя со мной умрёт.

IV  
Псалом

20 АПРЕЛЯ

Но ничего не будет — это я  
смотрю, как речь в разрезанном конверте  
припоминает мясо сентября, медвежью плоть,  
которая в ответе

за каждый звук, за каждый шорох, и  
улётся сом в бревно, с зажатой в жабрах  
травинкой говорит не обо мне,  
а о молчании в замёрзших чудных жабах,

а о клубящихся под почвою скворцах,  
которые, гнездо своё покинув,  
пока еще молчат, в густых лесах —  
подземных и, скорей всего невинных,

где свет — конверт подписанный себе,  
отправленный галить в весенних рёбрах  
у сада, в плавниках, и сом горит,  
чихает — в тьму, пока ещё морозно.

\* \* \*

*Евгению Туренко*

топнет свет и нету тела  
на апрель провиснет снег  
вот и в бога полетела  
как бы нитка через смех

никакого нету плача  
смотрит ангел Женя вниз  
весь прозрачный и прощает  
круг из наших белых лиц

\* \* \*

Входит звук в своё жилище,  
где красиво брошен Бог,  
обращённый в пепелище —  
будто в бабочку ожог.

И на жаберках соломы —  
от первейшего дождя  
плаваются мои ладони  
жаждой земляной шурша,

где пчела, лакая руки,  
из хитина и воды  
взявши тело на поруки,  
удивлённая лежит.

\* \* \*

Скрипит ли скрытая цитата  
в прожилке тёмной у листа —  
как будто-то дева — виновато —  
что несущественно густа,

ей комариный бог поможет —  
летающий в мир своих цитат,  
размытый у листа под кожей —  
как бы зазор на рай и ад —

стоит он у воды на брюхе  
где колышаются щенки —  
ещё не кобели и суки,  
скорее плавунцы-жуки.

\* \* \*

Жук-пльвунец, свернув свой шар  
подводный, шарит — как слепые  
внутри своей потьмы — зажав  
меж пальцев света половины.

В жаре из сумерек его  
воды мохнатой и голодной  
глазеем в свой оживший прах  
и узнаём себя на плотной

костистой кожице его, в шаре  
под ножкой отраженном,  
где от лица осталось О  
и алкоголь неизъясненный.

\* \* \*

Снова звук собирает из воздуха тёплый предмет:  
то ли почву, как точность,  
то ли глаз, как собранье примет  
ненадёжной погоды Урала, который наврёт,  
что летит пустельгой, смешным словом  
пробивая свой ход.

Этот воздух пернатый ему станет телом, что катится вслед —  
прижимаясь то к шеям деревьев, как смерть,  
то, рассыпав ответ,  
распыляя в гортани у верб золотистую взвесь,  
никого не находит  
и в этом [скорей всего] мечь

сих пейзажей, где двор и голландец, живущий под ним,  
размозоленной пястью [одной на двоих]  
разминают, как нимб,  
торопливые звуки лопаты — глядишь и доруют до тьмы  
[или что там за ней, как Урал  
улыбается]. Дым

поднимается выше и дальше сквозь ноздри дождя,  
что как лошадь дрожит  
помогая себе узкой шеей дышать,  
собирая из сумерек некий неточный предмет,  
тот, который оставил здесь след  
[хотя его нет].

И — голландскою тьмою прижав новый свет к середине пруда —  
гул молчит за Уралом  
и сохнет в гортани у вербы — как будто вода  
и Гомер [в эмбрионы свернувшись] начинают иной кровоток,  
сочиня приметы, названья  
любым из холодных углов.

## МАЯТНИК

-1-

Вот ветер сорвался  
и яблоком, змеем летит  
в своём безвоздушном,  
как звук, запечённый в петит,

среди черепицы  
[прочти будто жабры] дождя —  
животные головы,  
маятник от шмеля,

где он [не попавший  
в смолу или ключ от себя]  
карябая звук или смысл,  
спит, колени разжав.

-2-

Я снова прикасаюсь к смерти —  
она гудит — как проводок —  
меж нами есть, наверно, третий,  
незасыпающий, как ток.

Он спит, засыпанный меж нами  
мясной речью, Колымой  
и нашими [друг в друге] снами  
над деревянной головой

его ведём переговоры  
о невозможной встрече здесь,  
и пузырится дождь двурогий,  
в сетчатке утерявший вес.

\* \* \*

Вот роза догорает, словно речь,  
которая вернулась за ребёнком,  
чтоб на язык родителя обречь  
его, ожегши ледяное горло.  
О-А-У-О, остановивши тьму,  
стоишь в её открытой горловине  
и видишь [как словарь иной] вину  
за мёртвый свой язык  
на детской половине.

\* \* \*

От взгляда Бога остаются в тёмной  
смородине следы — ещё темней  
здесь светится вода — и от свободы,  
как скважина становится длинней.

И протяжённый ощутивши холод  
сквозь двери скрип, как память от костей  
[что вероятнее — костяшками расколот]  
вплывает в каплю он —  
чтоб каплей стать плотней.



\* \* \*

внутри холма стоит пастух — его  
не слышен гул, когда лицо приблизит  
он [к] двойнику со света не того,  
где дождь четыре дня себя не видит,  
не узнаёт, пока растёт внутри  
пастух, с изнанки узнавая стружку,  
не голосит, не спит и мертвецов  
своих не бережёт — пока им нужен,  
внутри холма пасётся [как тюльпан  
по десять дней — когда жара спадает],  
и из сквозных [в] мир смотрит Себастьян  
на двойника, чей гул не затихает,  
чей гул растёт, прекрасный, как, тростник  
бессмысленный в осмысленной чашобе —  
едва ли ты его не разберёшь  
[как бы листву] — хотя давай, попробуй,  
пока гул ширится, беременный, как шмель,  
внутри холма и рот свой обрывает,  
и рот летит сквозь гул и всяк предмет  
по имени, как мёртвый, называет

## КИПАРИС

Есть дно дождя — но мы его не видим:  
окрестная вода растёт, как ветвь  
у кипариса речь в птенцах и дыме  
в ожогах и щеглах, в моём дите.

Есть дно дождя — следы непроходимы,  
как будто заступившие на смерть  
приветствуют потоп — из чёрных линий  
воды, не ощущающей их вес.

Они идут — и будто виноватый,  
смотрю в птенца, влетевшего в мороз,  
на дно дождя, где дно рисует даты  
и чёрточку меж ними, как вопрос.

## ПСАЛОМ

Гудит вода свинцовая у дома,  
припоминая тени незнакомых  
по имени и циферке на бляшке,  
по долговой исписанной рубашке.

Чужой стоит у номерного дома  
[горгулий сноп в огне попеременном] —  
когда ты загорисься — он издохнет  
и выдохнет тебя, как тень, мгновенно —

ты загудишь — и часовая бляшка  
тик-так воде споёт — и куст взорвётся:  
там ангел твой горит — и, как бумага,  
на человека и цикаду рвётся.

## СОЙКА

Это лето будет холодным, поскольку брат  
решил повторить промысел братьев старших  
он объективен, как рай и ад,  
уже существующие в едином теле, наше  
желание быть живыми, воскреснуть вновь  
значения не имеют — очнувшись фарсом,

голова поднимает смрад революции, но  
благословляет себя, как жертву, дальше  
лето холодное, лица в дурном нуле,  
в луже — то ли птицы, то ли ангелы, и бликуют,  
как банты от гвардейских лент,  
неба коснувшись ли, лика [?] — дуют

на ожоги, на это лето — на! Возьми  
нас обратно, согрей у себя в жилетке,  
не пожалей, не сохрани нас,  
даже в горле, в памяти этой разбухшей ветки.  
Но ни ответа, только полночный град  
ставит фосфором то царапины, то пометки.

И тут из гнездовья, как почерка, птенец поднимается и,  
крылья свои только штрихами расставив,  
дёргает небо, снимая одежды винт  
вместе — с проросшим вовнутрь дождя — урожаем,  
лето будет холодным, когда назад  
люди вернутся со всех не своих окраин.

Птенец поднимается прочь от дыханья, вдоль  
высохшей, как поэзия, черепицы, —  
перечисляя всех смертных, как рифмы, сколь-  
ко их встретится — если полёт не длится,  
а существует только внутри себя,  
разминая — в утробе у хвори своей — таблетки,

птенец поднимается, с духом покров разъяв  
его, царапает кожи свои — нечётки  
эти следы, даже память его —  
не братья уже, а след от обрыва плёнки  
смазанный холодом и потопом до  
дитёныша, что сияет внутри у полёта сойки.

## ПСАЛОМ 2

Узел, который ты положил, как свет  
туго завязанный, в чрево тугой земли,  
себя расплести пытается, и гора  
там изнутри себя — как тшета — горит.

Если и крикнешь чего — всё одно судья  
все показанья положит тобой под сукно.  
Видишь? стоит гора, как бы дно — когда  
воздух на нить расплетает сухой жасмин —

непоругаем в нутре у него Господь:  
узел меня и тьмы нуждается расплести —  
почва внутри темноты, как змея, жирна —  
ласточкою в небесах не своих летит.

### ПСАЛОМ 3

Кто ловит нас, когда на гнезда  
ложится тень отца и слепит?  
Плачевна песня у урода —  
узор росы в побеге светит.

Умножатся враги, и встанет  
урод [росой великолепен]  
лежит в своей оленьей стае  
и мир воловьим глазом метит,

и разминает мир, как глину,  
который вовсе беспричинен,  
и тень отца лежит, как воды —  
посередине всех повинен.

### ПСАЛОМ 9

Невинно небо — пренебречь  
приглядом птицы молчаливым,  
сгибающим, как ветви, скорбь.  
Своё когда-нибудь увидеть

лицо, как будто бы лиса  
внутри силков смолой бежала,  
когда у ямы нас кладут,  
чтобы душа с норы причала

сгибалась ивой в жидкий свет,  
что ждёт её с лицом закрытым,  
доверчивым, как точный суд,  
и водомеркою увитым.

## ПСАЛОМ 129

Ещё зима, ещё любовь мгновенна  
твоя, мой бог реки, дороги и тоски,  
и светится во тьме над бровью твоей вена,  
пульсирует звезда, которая ни зги.

Ещё зима — твой мост стоит в попеременном  
сгоранье языков, народов вавилон  
хрустит, как хворост и — на диалекте пенном  
из снегопада горла нам воздвигает кров.

И темнота стоит накрытая стаканом,  
как обморок, в ладонь положенный звезде,  
и длинен ливень твой в прицелах снегопада —  
оптических, и зверь бежит перед тобой.

## ПСАЛОМ 142

Нашед подкову на земле — ши  
длится дольше, чем шуршанье  
извёстки костяных корней  
в твоей крови, где ты заранее  
присутствие свое в вещах  
обозначаешь, и к животным  
их припадаешь животам,  
внезапно наливным и плотным,  
как будто пятки жеребят,  
которые мне путь отметят,  
в нутре у матери стучат,  
и им звезда подковой светит.

## СОБРАНЬЕ ВЕЩЕЙ В []

Насколько же плотен зрачок, что питаем собраньем вещей,  
по краю полощется тьма из неназванных их  
[ещё только тени и тени от этих теней,  
свернувшихся в полую нить [нефтяную] воды].

И так исцелимы точки касания [взгляд  
включает их в узел своих капилляров — порвать  
посмеет их только ребёнок [возможно ещё гиацинт,  
мерцающий в жирную пыль из холмов золотых]].

Нисколько не плотен наш круг [что и вовсе не жаль],  
и жар из руки не пожат [словом, в угли отчалъ —  
послышишь в ответ скрипу вёсел, как дождь прозвучит  
[оторванных взглядом вещей и силков, ниспадающих в них]].

Прости тавтологию зренью моей нищеты  
и это двоенье, что мыслит голодный тростник  
[он изгнан [посчитан] неплотен, как соль у Протея в губах],  
не следует мне доверять [только это не страх

проснулся [и в ушко игольное вдетый зрачка] сшивает  
и жатву, и небо [где дальше — не я]].

Собрание проточного эха вещей,  
обожжённых, как глина, в краях.

Что вынет отсюда нам зреньё? — свою слепоту,  
озноб, возвращённый ключом из упругой воды  
в ту тень, за которою нам невозможно взглянуть.  
[[— Ну что ж, — отвечаю себе — так значит = смотри...]]

## PRAYER OF FISH / МОЛЕНИЕ РЫБЫ

На берег [как рыбы протёкший побег]  
дождь ставит тавро прямой речи  
и смотрит в её непрозрачный подтёк,  
где вновь переключивал вещи,  
как ссадины птиц на коленях пустых  
отсутствующих живых,

где берег на кадры положит пробел  
снежком рыбным [к жабре прижатым],  
коснётся дна зренье своим вторым дном,  
своим словарём небогатым:  
от края до сумерек — рыбный базар,  
и слышно гортанное «ар».

На берег, как лошадь взойдя, стая рыб,  
горит, что листва в тёплой Парки,  
и видишь её ледяную дугу  
и след от проточной тьмы сварки  
всех слайдов, положенных навзничь в петлю  
[и что вероятно — свою],

где мир примечание к йодным полям  
и рыбному взгляду без века,  
лежит Пифагор в очевидных губах  
всей смерти своей, как побега —  
и снится ему, словно речь хромосом,  
зола [как бы иней и схран].

Ведет свет ресницы и видит тавро  
прямой своей речи, как банки,  
где он, словно берег, в рыбу протёк,  
чьё слово сбегает из ранки,  
и рыбные всходы встают, чьи вчерне  
все лампочки — обо мне.



TRANSFER OF A DEER / ПЕРЕВОД ОЛЕНЯ  
[между берегов]

Следует перевод бесконечный в язык  
всяких предметов, великих и их биографий, на мост  
вставши однажды, олень обнажает не штык,  
но расширяет мороз вокруг [там, где Бог].

Словно вчера соловьиное пение вёл  
он на верёвочке, видимой лишь голосам —  
выросли липы, в папирус свернулись — так кровь  
веретеном горизонт намотала, и снам  
снится история — тёплый, как небо, олень,  
виснувший в воздухе непреднамеренно, не

будет вам имя скоропостижное, дно  
в щепоть копыта он взял, и именует своё,  
взяв перевода пунктир — он нисколько не жив —  
только двоится свинцом с обрывных двух краёв

полого света, где падает свет и лежит,  
невозведенный и непомысленный, не-  
бытием он спасаем, как затяжной долгий вдох —  
и горизонт, словно циркуль, стоит вдалеке

Новый чертёжник, лингвист, мастер имени дыр  
тонких мостов между бережно видных тебе —  
долгий олень всё бормочет, что с именем был,  
но не находит его среди линий, свой ген  
он препарирует, как лист из меди, когда  
[выйдя из горла] тот в клинопись нашу застыл.

И параллельное эхо расколет пролив:  
как скорлупа, всяк предмет будет дорог, но будет другим,  
и потайно освещенье его изнутри  
дыханьем оленя (не голоса, но поминаньем его) —

помни, что свет им порезан всегда лишь на три  
ломтя, что рыбой лежат над подземной рекой.

Бег иссякает, что бедный его алфавит,  
в свет иссечён и предмет —  
тот, который не вскоре его повторит.  
выйдешь и слышишь оленя, пространство, предмет —  
которые просят названья,  
которого нет.

\* \* \*

Не влага, а психушка — [что тебе?] —  
то кожа панцирна, то заводи пометка  
заводит мокрую шарманку в муравье.  
В нечёткой ласточки бумаге хлопнет дверка

аукнется, что марля на свету,  
ответ, которого не ждали,  
не говорили, не молчали и  
не умирали.

## ПСАЛОМ 105

Что родины туман, что эти две других,  
которые в себе соединяю  
дыханья отпечатком на лице  
у света, за которым исчезаю

[читай: я стал невидимым тебе,  
где не угнаться по следам из мёртвых  
за всем живым и запертым на свет,  
двоящимся и от того неплотным].

что родины туман, что эти две иных —  
с одной отплыл, а на другой пристану,  
когда жасмин засветится меж них,  
как щель на свет, приподнятый холмами.

V  
Империя

## ОБУЧЕНИЕ ЛЕММИНГОВ

*Алексею Миронову*

Иная кожа леммингов в воде,  
шифр пенья птиц в пересечённом эхе  
листвы дубовой белых наводнений,  
из сумерек, где женщина плывёт  
(читай: живёт в любом [читай] мужчине —  
он перевёрнут). В полуоборот

к нему стоит татуировка звука.  
На выдохе он из коры пустой,  
как колокольчик, вытянул разлуку  
и слушает не пенье, а покой  
[поэтому они взошли, как смыслы,  
над линией его береговой].

Асфальт. Светло. И липовый фонарь.  
Браслет соломы в окиси отца.  
И лемминги бегут, как бы вода  
меж пальцев вверх, и йодом смерть полна,  
повёрнута [как фомка воровская  
исчерпана и сломана] у дна.

И паутиной день скользит в зенит —  
одновременно, искоса и вниз,  
паук в зрачке у дерева жиреет,  
и если ты, как карп, плывёшь в груди  
у амальгамы, то она созреет  
в тринадцать лет и женщиной падёт

осоке этой мягкой на живот.  
И леммингов кленовых жирный дым  
почти живой [но мёртвой всё ж] воды  
вплывает, как сквозняк, в пролом. Утрою

изображенье это — колесо  
и бабочек коллекция, как воздух,

но сунься и получишь до-ми-соль  
и контур холода, как замысел. Короче —  
там лемминги скользят в большой воде  
и сбрасывают шкурки, где в помине  
нет длинной памяти, и — очевидно — не  
в том их вино и стыд, что не-

до-истребимы, что эпидермис плавится, едва  
они достигнут роста в две ладони,  
что треугольная, как призма, их слеза  
ни шкуры, ни агонии не тронет,  
когда они почувствуют, что их  
слепое мясо чешуёй и жаброй

накроет этот девичий родник  
татуировки женщины в мужчине,  
и поплывёт стог мяса — по реке  
не по течению, с плавником, в невинность.

\* \* \*

Там, где сон не опасен, и сумма небес,  
как и суффиксы птицы в силках травы,  
будто — свиток поля скрутил Гомер  
в слепоту, что сводится до двух дыр,  
ты заходишь в чаши незримой лес,  
словно в смерть, симметричную свету, Ахилл.

Ни ответа здесь, ни иных жильцов,  
сохранявших точность пейзажу их —  
раскачает млечный [как колесо]  
акробат, что в сетчатке твоей стоит,  
в поцарапанный смотрит контур отцов  
и прядёт им саван за птичий цвирк.

Там, где свет рассекает зренья в два,  
и руно крошится на знак и слог,  
чья остра, как бритва и речь, листва  
и гола [как ветвь или эпилог]  
пораженья нашего речь — права  
до вины тяжёлой, где свил ожог

оперенье себе, чтоб пустой воды  
замедлённый в стрекозах скосить полёт,  
щёлкать клювом в побеги света и  
в дирижабли мятные тьмы войдет,  
как в пасть церберов назывных — в дары  
принесённую греком из тех краёв,

где и сон неопасен, и свиток спит  
на боках овечьих, как некий шифр,  
и пейзаж, как свет в слепоте, стоит  
и кроит из спартанцев свинцовых цвирк.

\* \* \*

Теченье птиц, которым речь суха,  
как книга в золотом сеченье вдоха  
и бритва тишины разделена  
постскриптумом из сурдоперевода,

растёт проколом в зобе [изнутри]  
венозных птах, скрученных в жгут крови  
падением в фотографию, в разводе  
бензиновом локтя её хрустит  
тьма гальки, возвращённая природе.

И тяжестью соломенной легка  
её река в иной реке, с другими,  
не убережь от участи меня  
она идёт, но чтобы опрокинуть,

чтоб утратить от уст моих ключи,  
переливаясь то зерном, то страхом  
... всё говоришь себе: молчи, молчи  
свинцоголовых птиц,  
чей клюв из праха.



## ТОТАЛИТАРНЫЙ ДИКТАНТ

Медь сосны шлифует сторож.  
Ты кого узнал здесь? — спросишь.  
Тёмный профиль скомкан, сброшен  
в угол зренья, как экзамен, и пловец бликует в Каме,  
обращая лик и душу  
в чайки кованный гексаметр.

Тот, что внутрь, а не наружу,  
катакомбами народа пробирается на стужу,  
в поиск вбив тоску к искусству,  
дождь голодный разговора,  
где на грунта корж дешёвый  
гвоздь крошится словно рёва.

Рыжий или конопатый  
ангел пятку в полвторого  
чешет водостоком: справа  
кровь и слякоть наизнанку  
сочиняют свету тело  
и укладывают в мамку.

Только стук дождя сферичен,  
и огромный снег в усталом  
насекомом накренился в два мгновенья, как овала,  
где тотально, но вторично  
смерть, как свет, в лицо ложится  
и шуршит ребёнком справа.

## ЧЕРЕПАХА В РАЮ

*Дмитрию Машарыгину*

Водная черепаха делит свою  
сферу дыханья на ад и рай  
то всплывает вовнутрь  
(т.к. пространства здесь нет) —  
то ныряет в свет [и иной сарай  
даст ей имя своё, так и тень коже  
от лица воды говорит: стирай].

Черепаха плавёт по самой себе,  
то ли учит себя, то ли свой язык  
надкусив, как яблоко бросив, всё  
как бы выдох смерть свою повторит:  
в глубине у рая, помещённом в зрачок,  
и меняется местом с моим ребром,  
где дыханье в окружности своей спит

Черепаха похожей на дно воды  
прошивает, как зренье иглой, края —  
это ад геометрии произнести  
мир пытается ей — то ли неправда,  
то ли лопасть её щекотал Протей,  
замещая мальками своё лицо,  
чтоб она [как сумерки] истекла.

Вот стоим у моря — прикинь, стоим,  
соблюдая слайды, кефир их пьём  
черепаха плачет внутри, молчит —  
принимает матрицу: не плавём никуда —  
потому что сад — отраженье воды,  
и один за всех вокрут говорит  
[даже если мы говорим втроём].

\* \* \*

Невероятна трещина шмеля  
в его пустынях, нами не согретых,  
где камень — это лес, а плачу я,  
а платят нас родители — что в-третьих.

Вот смотришь в трещину, в двоение вокруг,  
где слово стало словом, не оставшись  
в зерне из вещи, чей завис в тень звук,  
слюною смазанный обильно. Отдышавшись,

чей шмель кусает глаз и, сняв с него  
себе фотоальбом, шевелит лапкой левой  
и падает в его сквозной живот,  
как мак, в свой рой проросший? Переспелый

невероятный рой среди слепоты,  
что есть двоење кадров тёмно-синих,  
как шмель шевелит тросточкой во рту,  
зрачка орех прокусывая дымом.

#### 42. АПОЛОГИЯ ВДОХА

В мыльный пузырь своего живота  
осень древесный взрывает скелет  
выдоха [в смысле — окружность плода  
режет [на две тёмных сущности] свет]

и начиная молчанье [как дождь]  
входит в дом женщина — мягкий её  
[дудочкой названный шелестом] сон  
в лодке из слуха по днищу скребёт.

Рвётся ли ткань или это вода  
в жажды воронке закручена внутрь?  
так в сентябре и шестого числа —  
сорок два года пытаюсь вздохнуть.

\* \* \*

Действительно казалось: без усилий  
нас произносит этот вмятый холод,

который мы с тобой в детей вложили,  
где агнец цел и лишь подклад отпорот,

где отраженье падает и длится  
в свою воронку, в тот вагон, что справа —

чтоб не запомнить богу наши лица,  
как дым — скребёт и псовая облава.

И конь вставал и, удлиняя губы,  
сосал своё лицо и, убывая,

он доходил, что здесь всего четыре  
глотка до нам невидимого рая,

И сосны серебрились, словно иней,  
в губах у ос последним урожаем,

положенным, как мертвецы средь тётток  
и проводниц, к которым уезжаем.

Действительно, казалось, что возможно  
остановиться и чесать за ухом

собаку, не успевшую за Богом  
в четыре [ночи или дня] проснуться.

## КЕНИГСБЕРГ

*Вадиму Месяцу*

Не всё изъято, выбрано, забито  
кузнечными гвоздями и глазами  
слепыми смотрит небо в нас — как взрывы  
вдруг щебетать растут над головами.

Нечеловечий голос свой расслышишь,  
растянешь «бу», как грозди птиц в портвейне —  
и мясо всем стремится где-то выжить,  
а слово всё пытается ответить.

## ЗАКХАЙМСКИЕ ВОРОТА

Они явились. Конь и смерть,  
и выдох выращенной розы,  
и я на них всю жизнь смотрел  
сквозь атом тёмной своей рожи.

Я пил коньяк в чужом саду  
с молчаньем, севшим на колени.  
Как женщина бежит в меду  
у старой яблони и тени —

так я их ждал. Они пришли —  
из кипариса вышли, лижут  
молекулярное лицо  
моё до крови темно-рыжей.

## БАРАБАН ИММАНУИЛА

*Вадиму Месяцу*

С утра лежал в нас дождь, потом бежал  
вослед костям наполеонов местных.  
И свет пейзаж безлюдный освещал  
и резкость наводил в лорнет раскосый.

Им путь был в Томск — дорога высока,  
и рядом, как пила визжал, четыре  
эпохи Чкалов из нутра моста,  
которому всё это вдоль, по вые,

по морю Кёнигсбергскому читай,  
кури гашиш, глазей в сухие ветки.  
Смотри, как этот ржавый мистер Шмидт  
становится вальтером, и не метким,

ленивым [словно ночь глушил бензин],  
крылом исправил всю береговую.  
По канту ходим мы среди могил  
и каждую целуем, как живую.

Я перейду в любой иной язык,  
в латиницы — коль станется — вериги,  
и баржами в Тыдым свой отплыву,  
где нас могилы ждуг [и все живые

с утра лежим в дожде, в дыму, в плену,  
в угаре — будто слово мимолётном],  
где всухомятку бог плывёт во рту,  
вскрывая нас за коньяком неплотным.

## ПРОБЕЛЫ

От страха замирая до пробела,  
до детства [в снега белой голове  
мерцающего, где его задела]  
крылом из воробинных прутьев сфера  
шекочет чёрный холод изнутри  
бессмертия, с которым не сумела  
тропы и тропа общего найти.

И от того так катится в сугробе  
[почти, как в мамке] чёрно-белый мяч  
вслед голосу, который слишком громко  
уносится от тела — будто грач  
по негатива [свет надкусан] кромке —  
похожий на чеширского ловкач-  
вийон ложится в гроб, где свет и стужа  
срифмованы до темноты. [Поплачь].

Поплачь, я говорю, как на исходе  
любая рифма рушится вконец,  
а сфера входит в кадр, как будто всходы  
осмыслены и, приподнявший дно,  
мерцающий сквозь зевы георгинов  
чудовищных — ещё в одно окно  
нам сообщит, что детство не невинно —  
скорее с нашей смертью заодно.

\* \* \*

Прилипла к свету мошкара,  
жара плывет в своём востоке,  
перебирает чайхана  
базар шофёров невысокий.

И контрабандный этот путь  
неправильной — но русской — речи  
возможно ангелам вздохнуть  
позволит из её увечий.

\* \* \*

То склонится вода вертикально,  
разъедая земли леденец,  
то окажется воздух летальным  
и оставит на жабрах рубец

у меня, выходящего долго  
из собрания плотных колец  
годовых, перечёркнутых кроной  
и детьми, что купаются ей.

И останется только природа  
недопонятой этой воды,  
что насквозь вытекает из лёгких  
разрывных, что от счастья легки.



\* \* \*

Порезанный на длинный дождь Орфей  
спускается обратно, понимая,  
что одиночество нигде не настаёт,  
что он живёт, себя не разливая

когда еще и мир неразделим  
и неразмечена до тьмы архитектура,  
и дно, что меж рогов холма горит  
напоминает воды те, что утром

по маякам разметит инженер  
чтоб их замолвить в численник столетья,  
порезавшись о бритвы этих вод,  
те, из которых сделан он, бессмертье

своё предчувствует, как наказание, он  
и видит пчёл, что свили сон из стужи  
его, и проливной козлиный стон  
стоит [как столб огня] всегда снаружи...

Но если он внутри — то эхо, что  
блуждает в сотах, лепленных из жажды,  
которой он — как время — растворён  
хоть будущего нет, куда однажды

он взглянет из своей пустыни, из  
пути, который не приводит к воле,  
где дождь прекрасный, как лицо, лежит  
и звук его насквозь, на кедры, колет.

## СВИНГ

там где свет замыкает [свой ли?] кошачий глаз  
чтобы лечь и уснуть или себя рассказать  
разворачивая — как бумагу без надписи — сон:  
все пути приводят в тыдым под которым рождён  
или [что точнее] зарыт в чёрном воздухе лаз —  
что себя узнавать по цинге даёт урке шанс  
на другой стороне от сумерек — под его глубиной  
зверь лежит [словно шорох в ветке  
что дрожит вдоль со мной]  
безупречный, как шрам —  
всею своей длиной  
этот свет, что уложен как лялька в люли-люли  
раздвигает буквы а дёсны его больны,  
и любой просвет вернётся цингою и  
так ли уж важно кто в этом свинге завис  
и смутившись до морфия смотрит как саранча  
тот которому запись что Вена где без врача  
не пройти кипяток, ангельский этот смех  
что свернёт глаз кошачий в холодный [как Бог]  
конверт

В.К.

Не путешествуй с Гоголем, и не  
стирай, как летаргический иней, с глаз  
изображенье мёртвое бровей  
деревьев — тех, что точно не для нас.

Поворотившись сынками в гробах,  
мы повторим заученный отказ  
от мира, что — как взрослых — нас надул,  
и оттого, конечно же, не спас.

И потому в урановых руках  
идёшь, как гоголь, чтобы спать, как псих,  
и стрелочник летает между gland,  
среди неплодородных слов твоих.

И потому — на Каме заводной  
всплывает осень из пластов земли,  
расчёсывая плоти твоей пятна  
до хохота, что спит в комках золы.

## РУССКОЕ БАРОККО

-1-

Под лай очнётся почвы крот,  
чтоб в атмосферный белый ход  
войти и носом шевелить,  
и из одышки свить в нём нить,  
и запах стираний белья  
похож на ластик — говоря  
иначе: хруст проговорит  
нам человека, что стоит  
почти всегда вокруг его,

порезавшись о своего —  
внутри, как оттепель, старик  
среди лёгких альвеол парит —  
у корки псовой, соляной,  
как почва от земли другой.

-2-

К кому ни подойди — во всяком путь:  
болото спит без дна, взглядевшись в жуть  
опущенного, что Москва, абрека,  
который входит в образ человека.

К кому не входишь — всякий был на ключ  
с рожденья заперт — стыден и горяч —  
просматривает слайды, или — рая  
границы, точно зренье, расплетая

финальная декада декабря  
на земли смотрит: ни фи́га. Скорбя  
проснувшись, входит в образ человека  
бутылка снега — обрезает веко.

-3-

Надломленный озера лёд  
подержить в такой же руке,  
когда она таять начнёт,  
чтоб стать теперь дверью в реке...

И чуешь, что нас повезли  
в холодных [как ноздри] санях,

чья лошадь, как колокол, спит  
в небесных моих ебнях.

\* \* \*

Кем вписан мир в зрачок своей же смерти [?] и рассечён, как тополя живот, что в стаде липовом идёт, от края третьим, на водопой. Из всех своих свобод он выбрал человека, что за берег взглянуть поспел и вслед плотве пропал, и там, внутри себя, он крутит голос — как ключ к часам, которые сломал.

\* \* \*

На протяжённой кровавой ладони спит отблеск Брайля в костяном сверчке: кого своим касанием он тронет — воронкой скальпеля в соломенном зрачке

тот отплывёт на лодке серединой, что побережьем поросла, как мгла, и в нём течёт по стае воробьиной, которую с собою принесла.

И слева-вправо речь перебирая, перевираю мир, как будто он — припоминанье и граница рая, и защищён качелью, как сверчком.

\* \* \*

Плещется водки пескарь на столе света, что свёрнут в древесную мглу, бьёт по лицу тёплый воздуха стриж, тот, про которого если совру,

станет реальней, чем матрицы дождь —  
справа от кадра сложившийся в три  
ангела или погибели, я  
глухо и намертво в лодке [смотри]

слово беру, как этиловый мат,  
слышу, как дышит свинцовый пескарь,  
тот, что плескался у глины во рту  
столбиком воздуха — а и не жаль...

## ИЛЛЮЗИЯ ПОТОПА

Засвет. Вода сбегает от себя,  
со лбов своих сверкая, как зажимы  
прищепок, что клестами со столбов  
взлетели, то есть вовсе не ожили,

а извлекли холодный свой полёт  
из глубины воздушного потока,  
который выпал в снега кровоток,  
скрутивший берег в белый жгут потопа,

где растворился медленный, как линь,  
как фосфор, что согрелся на начале  
у выдоха, бегущего с гусей,  
чтоб инеем остаться на причале

обрыва фотоплёнки. Серафим  
щекочет льда слепую диафрагму,  
и — покидает кадр вода, как нимб  
гусей, что занырнули в её жабры.

\* \* \*

В повозке воздуха чебак  
своей двойною головой

всё тычется о свет и прах —  
своим удилищам другой.

Так входит птаха на чердак,  
где человеческим лицом

пугается и ловит страх,  
стучащийся за воздух ртом.

\* \* \*

Прямая речь, складная, как аршин  
и клюквенный ожог на пятом пальце,  
под видом новых облаков своих лежит,  
сплетённая внутри земли, как тяжесть.

Отмоешь голос ледяным дождем,  
на хлебных корки две звук разломаешь —  
и сумасшедшего в самом себе найдёшь,  
где хруст ангины яблока признаешь.

\* \* \*

Есть тайный смысл в окружности, где я  
неразведённым сумраком дышу,  
в кошачьем глазе снега — два ключа,  
как под водой холодную, ищу.

И здесь портвейн влетает сквозь окно,  
и, закипая, воздух пузырьки

пускает, как ребёнок заводной,  
в кораблики скоблённые тоски.

И замкнута в осмысленный пейзаж  
не времени, скорее мотылька —  
окружность проплывает надо мной —  
как глаз кошачий в дыме висока.

\* \* \*

Так завершает прочерк,  
взглянув наверх,  
синегубый мальчик,  
продевая в баранку свет,

что бредёт из почвы,  
в чей вмотан клубок/живот,  
где любой мертвец состоит  
из пчелиных сот.

Говорит гнездо через тень  
своей птицы — я  
не упомяну снег, который  
тобою дан.

И вершится почерк  
в пчелином лице шмеля —  
то, что было здесь —  
вероятно уже не я.



## ИМПЕРИЯ

Я же родился в империи — время даст, что я в ней умру:  
ничего не бывает задаром — хрустишь хурму  
лелеешь маузер за ширинкой или наган,  
бабе своей говоришь: дура —  
но не отдам.

Лоб прижимаю к своим границам в толчённом стекле —  
стекло говорит: полетели — пока терпел  
пару друзей, комнату и пустоту  
за малым их кругом,  
который меня во рту

влажном своем крутил по часовой, жевал —  
хорошо ли быть маленьким? —  
да, хорошо, и спасибо тебе, что меня держал  
ангел, возможно куривший одну со мной на двоих траву,  
я пережил двадцатый, двадцать первый не проживу.

Катится мёртвых вагон — скоро я здесь один, и перрон  
станет добычей дождя или горящих ворон,  
варваров новых, любителей площадей,  
свободных стихов, воды с водою —  
не смей! —

говорю — переступай черту — крутись на золе своей,  
снова строй не ту  
империю, и не страну — огород,  
капусту, всяк часовой — оборот  
новый вставляет в речь, как бы в скважину ключ —  
вот у меня нет родины — только язык. Вонюч

ватник, в котором в детстве ходили двором на двор,  
пили палёный спирт с музыкальным названием — вор  
после пяти ходок в зону, учил как молчать любовь

(каждый хохол был братом —  
Полтавой — двор).

Вот и теперь выходишь — словно в зрительный зал  
все персонажи со сцены сошли — или ум мой мал,  
или зрение стёрто наждачкой табака —  
трогаешь декорацию и говоришь:  
пока.

Говоришь «пока» синей курице, что летит в облаках,  
в облатке своей найдя, что цезарь ещё она,  
что воздух, свернувшись в трубочку — свистит,  
что детство всегда одно — пахнет подгузником,  
возможно — чуть позже вином,

девою первой, возлегшей с тобою спать,  
порезом, вокзалом, бритвой, которые учишься брать,  
как революцией — улицу, ночь, фонарь,  
ватник накинув на плечи, что ныне звучит,  
как брань,

переминаясь с одной босой на другую босу стою  
в зубах неся на княженье ярлык — как зека пою  
в ноту своей богоматери — чудный поклёп словарю  
и вокруг прорастает империя языка  
и Византии его белый волк — в облаках.

\* \* \*

Едва ли этот вещный мир — был обращён, как в человека,  
в сухую тварь без слова, и моргают птичьи слайды света...

О, бычья радость изнутри, из ноября строгая лодку  
меня везёт, а снег гудит, что телеграф — верно это:

я выхожу в простуды двор и горлом становлюсь бутылки,  
в которой тварью зарождён, чтоб стало всадников четыре,

и ты моё лице сотрёшь в своём лице, и жажду выльешь  
во флагу снега, что суха, которой выживешь и выйдешь.

## ЯРОСЛАВУ

Сын, таскай из неба воды  
по кармашкам глаз детей  
посчитать насколько убыл  
в назначении ничей —

этой осенью, другим ли  
временем, когда умру,  
заполняя в твоей фильме  
своим минусом дыру

из вещей [имён подобий],  
их уродства и щелей,  
что живут как будто люди  
по кармашкам у детей.

\* \* \*

Подробны льдина и пчела,  
как горечь ветки тополиной,  
что гул внутри у фонаря,  
что ток, в котором ты повинен,

Бегут и льдина, и печаль,  
и ток речей сих лошадиных,  
и известь, что меня смела  
в февраль которым я так длинен,

в котором [как рыбак] сто ватт  
хрустят, свои перебирая  
костяшки, если дым идет  
в четыре стороны от края,

вдоль этой порванной пчелы  
и чётной половины нашей,  
где мы остатки колеи.  
Замедленное небо пашут

подробно льдина и пчела —  
февральские на дне укуса —  
и чернозём жуёт мороз,  
лишённый и лица, и вкуса.

\* \* \*

Империя грачей в конвертах снега  
хохочет, умирая, как земля —  
где рай похож на рай и одиноко  
лежащий смех в парных спит калачах.  
И одиноко дерево сквозь утро  
растёт до ангела с фольгой в голове  
и разбирает механизм, как чрево  
что отразилось в разрывной воде  
Пока докуришь эту папиросу —  
роса початая поспеет отлететь  
в свой напряженный и густой не отзвук,  
но память, разрезающую смерть,  
где сквозь порезы видишь, как гогочет  
земля сквозь жабры жирные свои —  
наверно отпустить меня не хочет,  
краснея так, что птицы не видны.

VI

Разминувшийся с тенью

\* \* \*

Что вспугнуло тебя, душа,  
будто такт словес  
был нарушен и сбит?  
И — пока раздувался свист —

ты стояла внутри  
от себя, как снегирь и крест,  
прорастая в тень  
и её некрасивый смысл

На твоём мяче  
скачут тьма и моё дитя,  
проливая своё лицо,  
как слепое пятно на свет,

вероятно — то,  
что здесь не увижу я —  
языка не стоит,  
и говорящего нет.

Что ж пугает тебя, так  
как землю страшит лишь грунт,  
или воды — вода,  
или корни — растущий ствол? —

так фонтан в округность  
свою осмелел взглянуть  
и рассыпался в корни,  
как на телят сих вол.

Что вспугнуло тебя,  
дитя, где бродила ты,  
как в садах зеркальных,  
и видела в них себя,

обличёна пролитой быть  
на две стороны —  
и любая из них тобой —  
словно смерть — полна.

Камень вечной жизни  
горит на руке меня,  
а иных камней для тебя  
от меня здесь нет.

Вот расти, как палка  
в пустыне, среди огня  
принимая в себя его холод —  
голодный свет.

\* \* \*

Под райским деревом земля обнажена,  
вода бежит невидимая, или —  
три мёртвых лебедя лежали под землёй —  
гляди, гляди! — они уже ожили,  
и вот — бегут прозрачные в метель  
три лебедя три лошади три хляби,  
и март [в глазах сухих совсем сухой]  
простит меня — ни для чего ни ради  
под райским деревом прозрачным [ни мертва]  
вода кружит, как женщина и лебедь —  
как яблоко и апельсин права,  
смущенья и судьбы своей не стоит.  
И женщина — невидима, как блядь,  
прекрасна и обуглена от мужа,  
и отражается у дерева в глазах,  
как лошадь, что блестит как будто лужа.



\* \* \*

Здравствуй, милый, милый дом —  
неужели мы умрём?  
неужели всё увидим  
с посторонних нам сторон?

Неужели, заходя,  
Бог оставил нам не зря  
зреющий [как сердцевина  
яблока у сентября]

этот дом, своих детей,  
предоставленных себе,  
пересматривать картинки  
в цапках спелых снегирей,

где сухие, как сосна,  
ангелы стоят и «ма...»  
извлекают, словно «мурку»  
из лабальщика зима,

где прозрачна не вода,  
но чужие голоса,  
что лелеют нашу смертность —  
хоть она не холоса

и [как хворост] тьму сверлит —  
ту, которой говорит —  
неприличный собеседник,  
что в изнанке слов жужжит.

Здравствуй, милый-милый дом,  
пробуй язвы языком,  
ощущая, как из мяса  
вызревает нежный ком.

В клине кошек и старух,  
я стою [уже без рук]  
обнимая ртом скользящим  
старый, как мерцанье, звук.

## ОФЕЛИЯ КАК ЧЕРНОВИК

Хрустящая Офелия над двойней  
своей склонилась умереть, и хочет  
не отражаться более в ребёнке  
и в сумасшедшем, как мужчина. Впрочем,

есть у неё и поперечный выбор:  
и вот уже сама бежит, не знает,  
не то в грозу, которая с обрыва  
сияет ей [как бы в начале мая],

не то в войну весь мир перелицует  
и, мёртвых душ в лице не отыскав  
воды, уже не бабочек фасует,  
но для палаты в метров шесть [установ]

Хрустящая Офелия отступит  
и [сквозь воронку] удаляя ночи  
смотри теперь на этих ребяташек —  
[один из них [раздвоенный] хохочет].

\* \* \*

Папиросный свет из трясогузки  
и низинной крови водяной,  
что во мне ты снова в дым попутал  
под свою долгую губой?  
На губе и на земле чайковской,  
как чифир произрастая вновь,  
просыпаюсь каждым тёмным утром,  
засыпаю в белый перегной,  
что меня звериными очами  
плачет и выдавливает в свет,  
как пернатое [еще недо-созданье]  
из одних особенных примет.  
Я тебя в кармане убаюкал —  
ты лежишь и тянешь из меня  
утро не похожее на утро,  
свет квадратный — русский, как словарь.

## ИСЕТЬ

как на рыжеющем и мужеском пиру  
я эту чашу внове повторю —

как будто набирая из Исети  
холодных уток что попали в сети

светающего снега языка  
прохожего как будто с ИТК

он возвращается в спрессованный как ветер  
Катеринбург и сломан свысока

его мотив что повторяют дети  
когда вокруг его течёт река

и иссекает лики  
в мокром свете

\* \* \*

У дома, в который вернутся стрижи  
ожить от любви и до страха,  
лежим мы, товарищ — ты видишь? — лежим  
как будто в окружности мрака,

что плотно ложится, как снег на живот  
сползая на наши колени  
растёт то, что позже станет землёй  
в которую мы не поверим.

## ВОДОМЕРКА

*Евгению Туренко*

Не будет прошлого — посмотришь и не будет —  
как птаху непрозрачную, нас сдует  
сквозняк, иголка, что в слепой руке —  
ты переходишь небо по реке.

И вдоль растут то люди, то не люди,  
а отпечатки их на дне посуды,  
их эхо ромбовидное — плыви  
подсудный, утерявший любой вид.

Никто не вспомнит нас лет через двадцать —  
так водомерка может оторваться  
от отражения слепого своего  
оставив лапки — только и всего.

\* \* \*

Лучше всего на свете — вода,  
которая в солнце твоём растёт  
дремучая как чернозём, когда  
мы виноградом её идём —

без произвола уже колец  
мясных, словно в шубы рядивших нас,  
вода рассыпается под конец,  
и смотрит снаружи из птичьих глаз.

Слезятся очи у них ещё,  
трамвай их ревёт, но беззвучно. Им  
вино и грунт подаёт — вода —  
как рыбакам и ещё живым.

И, обретая форму куста,  
свобода стоит в лепетанье сих  
птенцов, что блуждают внутри живота,  
который им не дано простить.

\* \* \*

О символах любви и смерти  
воспой нам, снежная дуга.  
Ты — дура, потому и осень  
цветущей оспой пролегла,

И потому, когда тебя я,  
немая дура, обниму —  
не лепечи со мной о смерти,  
когда по ней я протяну

железную, как гроб, дорогу  
[на ней вагончики поставь!] —  
смотри, как едет тело к Богу  
сквозь лес, похожий так на страх,

сквозь символы из шизанутых  
и годных к новой строевой  
живущих в доме серафимов  
и херувимов на другой,

пересечённой [будто нет нас,  
а только символы со дна  
перерастают эту местность,  
как ночь перерывает дня

колючую метель, где ёжик  
с тобою дурковать летит,  
и жалит, потому что может,  
сосулек чёрные клыки,

что пахнут родиной, портвейном  
и косяком, который смерть,  
где хочется немного верить  
и ненадолго умереть.

\* \* \*

Над преисподней — лёд, бумажный лёд  
хрустит и говорит ночь напролёт,  
ночь напролёт — из всяческих затей,  
растет из человеческих костей.  
Всё слишком человеческое в аду —  
что вероятно — я сюда сойду,  
и лёд бумажный разгрызёт мой рот,  
где конопля насквозь меня растёт.

Похоже, слово наше — тоже ложь,  
его не подобрать — попробуй шов  
и кетгут, и крючки на вкус прожив,  
ты попытаешься лёд этот перейти,  
перерубить кайлом, хайлом, собой  
и бабочкою с мёртвой головой,  
ветеринаром на одной ноге  
[с вороной и свободой в бороде].

Опишем всё исподнее как рай,  
где кислород сочится через край,  
через вмороженный в бумагу синий лёд  
которым только кровь от нас плывёт,  
подобно кровле, Питеру во тьме,  
что с Китежем войну ведёт на дне  
козлиный дом проходит через дым —  
что сделаем мы с ним, таким живым?

Куда мы поведём свои стада,  
которые, не ведая стыда,  
растут в садах овечьих и летят  
среди пархатых этих медвежат  
на улицу по имени меня —  
одну из версий белых тупика,  
ложатся вдоль огня, в бумажный лёд,  
ощупывая тень свою, как ход?

Стада идут здесь, голые стада,  
в подмену рая, слова, в имена —  
на их знамёнах белые скворцы,  
и двери, что скрипят на тельце их,  
возможны, как за дверью пустота  
которая [как лёд] сомкнёт уста  
бумажные, в которых смерть течёт  
надёжна и густа — как донник в мёд.

Пусть пастухи моих живых костей  
в ночи шумят, в резине тополей,  
и льются сквозь пергамент твёрдый снов —  
пока подложный рай мой не готов  
пока хрустит над преисподней лёд  
мой псоголовый, будто милый кров.  
я буду здесь в своих родных садах,  
где прячет дерево в самом себе тесак.



ЕКТОРАС ТҮДҮМЕ

*Андрею Пермякову*

В лодке фабрики усталой —  
тает снег, шагает правой  
вдоль по досточке рабочий  
между ледяных отточий.

Перед ним, в лице синицы,  
горит атом серебристый,  
и сучит ногой дитя,  
ожидая сентября.

А за лодкой ходит некто —  
будто убиенный Гектор  
наконец пришёл в Тыдым,  
где конечно все сгорим.

Загорелой своей кожей  
семафоря рыбаку,  
нас олень из тьмы тревожит.  
Из солёного Баку

в лодку фабрики, что тает,  
широко шагает снег,  
и идёт, как алкогольный,  
ледяной, как человек.

\* \* \*

Беспечный вечер, как последний,  
идёт по следу и по краю,  
щенком мелькая в щелях чашки,  
которую я наблюдаю

здесь на столе, где я однажды  
лежать с желтеющим лицом  
пребуду, как воображала,  
замкнув над осенью кольцо

из Пушкина и графомана,  
из лошади и тройки пчёл —  
как будто бы легла экрана  
татуировка на плечо,

как будто смотришь новый эпос,  
где я — холодный кинескоп  
в непрекращающийся вечер,  
который смотрит мне в лицо,

который облаком прикурен,  
таскает души через дым,  
в щенках, что оживут в отместку —  
и в этом весь его мотив,

который горлом мокрым, вязким  
озвучит тело на столе,  
пока душа из спелой чашки  
спешит осою на плече.

\* \* \*

Небо запекает полёт шмеля —  
только успеешь вымолить «бля»,  
ощутить ожог на плече неправом —  
и вот уже справа полёт торчит,  
как штопор, что в пробку воздуха вбит.

От такой прекрасной, как Бог, расправы —  
остаётся четыре страницы лавы  
и пустой — как посмертный человек — пашни  
остальное, что в темноте, не страшно.

Испечёшь полёт, будто свой Воронеж,  
и боится шмель, что его уронишь,  
и слюной с малиной взорвётся грудь  
у грачей, что воруют новый шанс уснуть.

Вот и весь ожог — насекомых право,  
для дыханья ангелов сих оправа:  
мандельштам мандельштаму — всегда воронеж,  
где — придумав плоть — из неё уходишь.

\* \* \*

Так свет обречен проливаться  
на плавный, как женщина, снег  
обрезанный по форзацу,  
который слабал человек  
[и, что вероятно, мужчина  
который, наверно, любил  
весь свет и его дармовщину  
и это ответное свил  
гнездовые стрекозам и осам,  
которые в чёрных кустах,  
обугленных по морозу,

лежат у мимозы в руках,  
которые свет заслоняют,  
как женщину в полой руке,  
и сами себя проливают,  
как дождь, отзеркаленный в снег].  
Так ты, обречённый — на пару  
с тоскою себя обрести —  
стоишь на берегах насекомых  
у женщины внятной реки.

\* \* \*

Пока прекрасный выдох  
пренебрегает мной  
и ангельский утырок  
кружится, как пустой,

надутый Богом шарик,  
в котором спят коты  
и точатся царапки  
в кругах сквозной воды,

и, испытывая нежность  
несносную мою,  
вдыхает меня небо,  
как хвойную осу,

и ангельский утырок  
скользит с той стороны,  
и в водомерок точки  
сплавляются коньки —

держи, держи нас, воздух  
на нитке, как форель —  
пока не станет поздно  
нам пренебрегнуть ей.

\* \* \*

В бессоннице лошади снится, что поле  
по краю свернулось, как старый палас,  
трагедией ворон пасётся на воле,  
[свободы чураясь] плывёт стилем брасс

по снам лошадиным, где веки деревьев  
шипят, от природы своей закипев,  
и пар переходит пустырник налево,  
сметая на свет удивлённую смерть,

что снегом летит над слоённой пирогой  
природы, что здесь — под сугробом — лежит,  
успев ощутить то, что Бог здесь потрогал  
её и приял свой бессмысленный стыд.

В бессоннице лошади, в черепе Блока,  
где ворон укрыл своей славы ключи,  
где отрок лицом отражает отлогим  
то женщину, то от полётов ручки —

лежит это поле, как март под Челябиной,  
по краю свернувшись у крови своей  
[губой шевелит убогой, чебачьей] —  
как будто не зная, что делает с ней.

\* \* \*

*Алексею Александрову*

Слоеный мартовский пирог  
прозрачный, как в деревне голод,  
лежит дыханью попереёк —  
где свет на зрение наколот —

окоченев внутри у рыб,  
он здесь прохожий запоздавший.  
Осенних птиц летят круги  
из хора кабаков и пашни

в пирог дыхания, в овал  
сиреневый, что твой Саратов,  
над в снег проваленной землёй —  
что тоже будет виноватой.

И распрямляясь, как пескарь,  
здесь встанет ангел придорожный,  
чтобы бензин навзрыд листать  
в снегах, теперь своих, подкожных.

## ГЕОРГИЙ ИВАНОВ

На переломе дерева пророс —  
как будто от экватора отчалил  
на чайке, что плывёт песком в Бангкок —  
на зрении своём, в чужой печали

читает вслух Бог наши имена,  
планируя за щепкою, как выдох  
и ловит соловьёв, кладёт в карман  
огня — и взрезав горло — этот выход

вставляет в шрамы им — и жестяной  
тягучий звук, на цып войны слетаясь,  
всё пахнет розами, как тёплый перегной,  
где женщина стоит, не раздеваясь.

## МУМУ

Грядки обрастают чешуёй  
птичьей — после зимней, жженой драчки.  
приблудилась родина домой,  
тычется, как пёс, своей собачьей

мордою — как ласточка кружит,  
у неё в лице ненастоящем  
то ли пьянка, то ли чёрный стыд,  
как младенчик голый и незрячий.

[Будто лошадь] Пушкин плачет здесь  
и обходит Гадес, в тьме обходит:  
то поднимет родину на вес,  
то, как окуня, в гряде воды утопит,

где она русалочьим хвостом  
подмигнёт из почвы, как из будки,  
и затаяет воздух узелком  
в оспяной кадык у трясогузки.

## ПОТРОШЕНИЕ РЫБЫ

Рыбу потрошим, ли сон ли  
покитайский нам толкуют...  
Глухари или поэты  
с водочкой своей токуют

посредине пепелища,  
с букварём, как буратины,  
носятся [почти стрекозы]  
на краях у драной льдины

у ворованного края  
по щелям, по водным порам,  
смысл впотьмы не различая,  
и почти что не готовы

к потрохам нерыбным, к водке,  
к лодке смертной у причала —  
и на утро вряд ли вспомнят,  
что им чайка прокричала,

как их муза потрошила  
в мойке кухонной под краном,  
и лицо потом зашила,  
чтобы внутрь смотрела рана,

чтобы этот покитайский  
изучали и молчали,  
чтобы водочка и воды  
рваной чайкою кивали.



## КЕРЖАК

Посеребренная речь местности нашей.  
Кажется, нечисть обходит берег с ночью стражей  
вся заодно, и тонкий пятак рублёвый  
летает над ней, и латает свои оковы  
речка, стоящая посередине кайфа —  
типа сто первый спартанец — вот от такого драйва

я прихожу в себя и смотрю за небо,  
тоску испытую по тем местам, где пока что не был  
и вероятно не буду — поскольку хруста  
снега кыштымского ангельского мне не хватает — пусто  
в — брэнной там — речи, а смотришь в низы и тоскуешь  
посеребренной речью, во тьмах пируешь.

Как в кирпиче кержацком надписи Белтшацара  
берег стоит, где-то меж левых и правых  
сырый с убогим — смотрят и ищут место,  
но ошибутся — поскольку всегда здесь тесно,  
нам остается сплошной и в прорехах воздух,  
спрятанный подо льдом, как завета лоскут.

Нечисть исчислена — шелест кошачий вздорный  
в рукопожатье земли и воды утоплен,  
взвешен, как третий рим, и гудит в собачьем  
лае, гоготе селезня в проруби и в чебачьем  
немом открыванье зева, в Кроносе с анашою,  
вот и царапаешь их порванною губою.

Сорвавшись с поклёвки, вставши один, без стаи,  
ты понимаешь, что снег уже не растает,  
не растворись небу, пока не порушишь ставни —  
сколько бы нас ни делили тени — Уран остаётся главным,  
даже если уткнешься лбом, что в зелёнке, в грунт, и  
зреешь в себе, как зренье, и гвоздь погнутой

гемоглибином своим раздражает почву,  
и разрывает — как сотню лет — сухой ивы почку,  
требует водных весов или снега стражу,  
плавая, как чебак, через мглы и сажу  
в посеребрённой трудной местности или  
в том, что из огней неживых пошили

в ста километрах от ямы (читай — Челябин)  
шубу волчью вросшую в плечи древесные, дабы  
в чёрной долине буквы текли из снега —  
словно нефть, покидающая человека —  
в просфоре фотонов, гамма-лучей и света,  
что плачет сквозь нас, как вероятность побега.

\* \* \*

Я пережил здесь смерть  
свою, как эта дева,  
лежащая в садах,  
касающихся чрева  
всех насекомых божьих,  
живущих у огня...

О, родина, как смерть,  
не покидай меня!

\* \* \*

Окажется воздух кессонным,  
прошитым, как жабры стрижей,  
сшивающих нашу природу  
с разрывом, мерцающим в ней.

И, слушая наших качелей иголку,  
на входе в золу, надеюсь,  
что голос негромкий  
свой вынесу, коль не спасу.

\* \* \*

В полубреду болезни детской  
и оспинах ночи дурной,  
что в табунах на небо влезла  
и там сияет глубиной

своей высокой, как держава,  
мотая головой на сон —  
нет, речь меня не удержала,  
но выгнала на стужу вон —

в полубреду болезни детской —  
и аутичной, и слепой —  
как слог ребёнка неизвестна —  
сгущает звук над головой

кобылей, что моё излечит,  
косноязычие и с ним,  
как выдох, холод покалечит  
и — с бабочкою — отлетит.

## ASPHYXIA

Посмотрит выдох в воздух — словно в воду,  
которая мертва, а не жива,  
чья дребезжит древесная повозка,  
что спрятана в сосне, и из тепла  
её, как из утробы землянистой  
скрипит ходулями под ранкой янтаря.

Рай встрепенётся, будто кто-то выжил,  
и, балуясь весёлой анашой,  
такое на его берёзках вышил  
младенческой нетвёрдою рукой,  
что выдох обратился снова в воздух  
и только после стал густой рекой.

И медь качалась в тетиве у вдоха,  
то в соловье, то у комков стрекоз,  
на уголь кислый закрывая шёпот  
невидимых и точных берегов  
переходя парной, непарный чаек клёкот,  
что оставались под воды дугой.

\*\*\*

... или Воронеж, или алфавит —  
возможно, что-то левое болит,  
поёт в дрозде — как будто перевод —  
летит с плеча о землю вертолёт.

Среди его порезов, лопастей  
январь хоронит голоса гостей  
на целлофан, как на лицо кладёт  
горячую ладонь — вдруг оживёт

и полетит по ветру там, где речь  
не успевала мертвецов сбересть —  
один из них сегодня мне в окно  
стучался ночью и стоял темно

в пятне январском, плакал и болел —  
меня печатал или вслух жалел  
или Воронеж, или алфавит —  
как целлофан, где левое болит.

## САНИ

Город предстанет невидимым. День ото дня  
не ототрешь, но возможно припомнишь меня:  
даже не контуры — шорох травы к сапогам  
дымом приклеен, как выдох [к] холодным саням  
тем, что пейзажи вокруг режут словно бы хлеб.  
нет никого, ничего — кто щебечет в просвет,  
в окно человека, когда вокруг падает лев,  
сани скрипят и въезжают в натопленный хлеб?

\* \* \*

Природа, сделав харакири,  
сентябрь вынет на четыре  
не света стороны — тепла,  
которое в себе несла.

И вот, как девочка, однажды  
тридцатилетняя, из сажи  
внутриутробный свой несёт  
непрекращающийся плод.

Над нею — птица и природа,  
и нерестится в них свобода,  
едва заденет провода  
и спишь в четыре не утра.

И там тебе то дева снится,  
то Вифлеемская ослица  
и в лоб впечатаны звезда,  
сирени тень — как холода.

## ЧААДАЕВ

Предвестник рыбный появления чаек,  
мальков сих возвращающих воде,  
где крошево ржаное прорастает,  
как осы у Протея в бороде,

почуешь кислород и эту тяжесть  
от жестяного, словно смерть, ведра,  
которое — в своем снегу пернатом —  
за клёкотом куда-то жизнь несла.

Куда? — не видишь — Только едем, едем  
среди чаек тонких, разводных мальков,  
что изнутри следов звездой светят,  
как радость, в тьму — сокрытых в них — подков.

Так едем, сумасшедший Чаадаев,  
туда, где ангелы придумали нам кров:  
свободы нет — поскольку угадаем  
мы не предел, но утишение слов.

И по краям у тишины и чёрных чаек  
сидит и греется такая темнота,  
что если рот случайно размыкаешь  
то светятся твои [уже] уста.

## ПРОРОК

И в — кувшинов разбитых — чаду  
маслянистом, как речь фарисея,  
т.е. книжника, т.е. найду  
то, к чему до-коснуться не смею

горлом. В страхе животном труда,  
будто выдох, с тревогой пожатый,  
в лабиринт — где не глина горит  
яко ангел слепой. Из палаты

он несёт своё око в руке,  
свой язык, что удвоен пустыней  
коридорной — как будто бы свет  
одиноким случился и — длинным.

Горловина сужается, я  
оставляю тебе своё мясо  
и смеркается тонкий народ,  
говоря в животах у Миасса.

\* \* \*

Брутальна родина твоя,  
которой ты насквозь проходишь  
как через скважину вода —  
то дышишь, то себя находишь.

И дым несётся, как чечен,  
покрай ещё одну невесту —  
так родина под небом спит,  
в Отечестве своём столь тесном,

что кажется его надув  
травую, мошкаррой — в руины  
как шар за богом полетишь,  
который ножик перочинный.



## ГЕОМЕТРИЯ ПОБЕГА

Справа — бегун, разминувшийся с тенью —  
стены свои попытался разбить,  
будто метафора он перемены  
школьной. Шмелей непроснувшихся нить

им развернулась, как хлада страница  
или клубок — прочитаешь теперь? —  
эти засосы (в смысле укусы),  
где попытались они в егерей

сны пробурить ход — подземный и страшный  
в смысле кручённый, как их слюна,  
то полубог глину неба пропашет  
над бегуном, получившим сполна.

Слева — то дочь, то — как видишь — Челябинск  
вмятый в одышку, с уральских равнин  
вынул резак и в щель ветра им машет,  
чтобы пролился гемоглобин,

Тмин поднимается — слишком широкий,  
как из ТВ выпадающий снег —  
ты попадаешь в его равнобокий —  
и треугольный, как зрение, след.

И по тебе в свой Шумер переходят  
слайды, которых, возможно, и нет,  
псы (и сие разъяснений не стоит —  
поскольку любой непонятен здесь свет).

Свет, что скрутился в воронку снаружи,  
всегда посторонен и взрывчат, опять  
неподпоясанным он остаётся,  
чтобы — как зренье из стужи — мерцать,

чтобы тобой прирастать понемногу,  
и, умножая через тебя  
это пространство, в итоге стать богом,  
что промелькнёт, жёлтым смехом скрепя

две половины — не лево и право,  
жизнь и свободу, которой чтят смерть,  
но вероятные два из побегов:  
один, что растёт сквозь второй, что наверх.

## СОДЕРЖАНИЕ

### I. ДВОЙНИК

«Доеденный лисой собачий лай...» .....	6
«О, воздух, ты, который позабыт...» .....	7
«Войным-война здесь, Катя, непогода...» .....	8
«Сидит обманкой в поплавке...» .....	9
«Скрипящая пружина слепоты...» I.....	0
ДЕРЕВЯННЫЙ ВЕРТОЛЁТ .....	11
СОБАЧЬЯ ГОЛОВА .....	12
«И вот, придумав, что любим...» .....	12
«На птичьем рынке — торфяной язык...» .....	13
«Сминая бумажную воду...» .....	14
«Не раньше, чем начнётся смерть...» .....	14
«И вот ещё, ещё немного...» .....	15
КОЛЧАК .....	16
ОДА НА ТРЕТИЙ ИЮЛЬСКИЙ ЛИВЕНЬ .....	17
«обиды нет...» .....	18
LA MARIPOSA DE ARENA .....	19
«Передавая хлеб по кругу...» .....	20
БЕССОНИЦА .....	21
«но будто вся вода не здесь...» .....	22
«с лицом как озеро лежать...» .....	22
«Листья слетают...» .....	23
«И ослепителен был свет...» .....	24
«Что близко мне? — скажи. Лежит...» .....	25
«знаешь [?] косяки у неба...» .....	26
«вот чугунная баба...» .....	27
НИЮ PRÓDIGO .....	28
«По эту сторону болезни...» .....	29
«Вот странные люди...» .....	30
«Колеблется ли свет...» .....	31
ЩЕГОЛ .....	32
«То, что лежало на ладони...» .....	33
КОЛОДЕЦ .....	34
РИСУНОК .....	35
«Так вырой же тьму из могилы...» .....	36
ДиАЛОГ .....	36
«И вот ты раздвигаешь двойника...» .....	37
«Свет кожу стирает дочиста...» .....	38

«Откроют листья золотые рты...» .....	39
«Вот осени пирог, как шар...» .....	40
ПРОГУЛКА В АВГУСТЕ .....	41
«Что птица волочёт в своё гнездо...» .....	44

## II. ТЫДЫМ

«Где деревянно кровь до октября...» .....	46
СРУБ .....	46
«И запрокинув голову...» .....	47
«Он медлит избавлять от скорби...» .....	48
НАТАЛЬЯ .....	48
БОГ .....	49
«Когда почти освоен диалект...» .....	50
«Вот неба свет — какой-то не такой .....	51
«Ломается так голос у подростка...» .....	52
«Зеркало запотеет...» .....	52
«Все дольше утро и туман...» .....	53
«Потянуло патокой от фабрики...» .....	54
«Распрявленной осени спина...» .....	54
«Мне нравится, как дышит в ней земля...» .....	55
«Вот холодает — ангелы, как снег...» .....	56
«В срез неба заглянул — а там колодец...» .....	56
«Голову ангела в вёдрах несущ...» .....	57
«Что ж, счастье есть в домах...» .....	57
«Печален облик из окна...» .....	58
ӨЕОГОНIA .....	59
ТЫДЫМ .....	60
ТЫДЫМСКИЙ НОЙ .....	61
«Я научил ад говорить, собой...» .....	62
«И баба беременно дышит...» .....	63
ВОСЕМНАДЦАТИЛЕТИЕ .....	64
«Светает — пробуждаясь — птица горла...» .....	65
«По ветке воздуха, пускающего корни...» .....	66

## III. ДИАГОНАЛЬ

КАРИАТИДЫ .....	68
«Записывая текст, зима смердит...» .....	69
«На высоте, в единственном числе...» .....	70
«На шерстяной спине тумана...» .....	71
«Не в перспективу, а скорей в экран...» .....	72

«В просветах фотопленки негустой...» .....	73
СВЕРЧОК .....	74
«И нереален стыд детей, когда во мне...» .....	74
ПЯТНА .....	76
«О, утро осени моей...» .....	77
«В три этажа лежащие в воде...» .....	78
«Пока имитирует смерть здесь жизнь...» .....	79
«В паренье снега...» .....	80
ПРОХОЖИЙ .....	81
«...но фрагментарна смерть...» .....	82
«Свой голос задувая в шар...» .....	83
СНЕГОПАД .....	84
«Мы смертны — удивительно, что видим...» .....	84
«Плачущая стрекоза земли...» .....	85
TRANSFERRING MEANINGS .....	85
«Свет падает — смотри скорей сюда...» .....	86

#### IV. ПСАЛОМ

20 АПРЕЛЯ .....	88
«топнет свет и нету тела...» .....	88
«Входит звук в своё жилище...» .....	89
«Скрипит ли скрытая цитата...» .....	89
«Жук-пльвунец, свернув свой шар...» .....	90
«Снова звук собирает из воздуха...» .....	90
МАЯТНИК .....	92
«Вот роза догорает, словно речь...» .....	93
«От взгляда Бога остаются в тёмной...» .....	93
«внутри холма стоит пастух — его...» .....	94
КИПАРИС .....	94
ПСАЛОМ .....	95
СОЙКА .....	96
ПСАЛОМ 2 .....	97
ПСАЛОМ 3 .....	98
ПСАЛОМ 9 .....	98
ПСАЛОМ 129 .....	99
ПСАЛОМ 142 .....	99
СОБРАНЬЕ ВЕЩЕЙ В [] .....	100
PRAYER OF FISH / МОЛЕНИЕ РЫБЫ .....	101
TRANSFER OF A DEER / ПЕРЕВОД ОЛЕНЯ .....	102
«Не влага, а психушка — [что тебе?].» .....	103
ПСАЛОМ 105 .....	104

## V. ИМПЕРИЯ

ОБУЧЕНИЕ ЛЕММИНГОВ .....	106
«Там, где сон не опасен, и сумма небес...» .....	108
«Течение птиц, которым речь суха...» .....	109
ТОТАЛИТАРНЫЙ ДИКТАНТ .....	110
ЧЕРЕПАХА В РАЮ .....	111
«Невероятна трещина шмеля...» .....	112
42. АПОЛОГИЯ ВДОХА .....	112
«Действительно казалось: без усилий...» .....	113
КЕНИГСБЕРГ .....	114
ЗАКХАЙМСКИЕ ВОРОТА .....	114
БАРАБАН ИММАНУИЛА .....	115
ПРОБЕЛЫ .....	116
«Прилипла к свету мошкара...» .....	117
«То склонится вода вертикально...» .....	117
«Порезанный на длинный дождь Орфей...» .....	118
СВИНГ .....	119
В.К. ....	120
РУССКОЕ БАРОККО .....	120
«Кем вписан мир в зрачок своей же смерти...» .....	122
«На протяжённой кровавой ладони...» .....	122
«Плещется водки пескарь на столе...» .....	122
ИЛЛЮЗИЯ ПОТОПА .....	123
«В повозке воздуха чебак...» .....	124
«Прямая речь, складная, как аршин...» .....	124
«Есть тайный смысл в окружности...» .....	124
«Так завершает прочерк...» .....	125
ИМПЕРИЯ .....	126
«Едва ли этот вещный мир...» .....	128
ЯРОСЛАВУ .....	128
«Подробны льдина и пчела...» .....	129
«Империя грачей в конвертах снега...» .....	130

## VI. РАЗМИНУВШИЙСЯ С ТЕНЬЮ

«Что вспугнуло тебя, душа...» .....	132
«Под райским деревом земля обнажена...» .....	133
«Здравствуй, милый, милый дом...» .....	134
ОФЕЛИЯ КАК ЧЕРНОВИК .....	135
«Папиросный свет из трясогузки...» .....	136
ИСЕТЬ .....	136
«У дома, в который вернутся стрижи...» .....	137

ВОДОМЕРКА .....	137
«Лучше всего на свете — вода...» .....	138
«О символах любви и смерти...» .....	139
«Над преисподней — лёд...» .....	140
ЕКТОРАΣ ΤΥΔΥΜΕ .....	142
«Беспечный вечер, как последний...» .....	143
«Небо запекает полёт шмеля...» .....	144
«Так свет обречен проливаться...» .....	144
«Пока прекрасный выдох...» .....	145
«В бессоннице лошади снится...» .....	146
«Слоеный мартовский пирог...» .....	146
ГЕОРГИЙ ИВАНОВ .....	147
МУМУ .....	148
ПОТРОШЕНИЕ РЫБЫ .....	149
КЕРЖАК .....	150
«Я пережил здесь смерть...» .....	151
«Окажется воздух кессонным...» .....	152
«В полубреду болезни детской...» .....	152
ΑΣΡΗΥΧΙΑ .....	153
«...или Воронеж, или алфавит...» .....	154
САНИ .....	154
«Природа, сделав хакакири...» .....	155
ЧААДАЕВ .....	156
ПРОРОК .....	156
«Брутальна родина твоя...» .....	157
ГЕОМЕТРИЯ ПОБЕГА .....	158

## Книги «Русского Гулливера»

Игорь Алексеев «Как умирают слоны»  
Олег Асиновский «Плавание»  
Георгий Балл «Круги и треугольники»  
Анатолий Барзах «Причастие прошедшего зренья»  
Александр Верников «Побег воли»  
Валерий Вотрин «Жалитвослов»  
Игорь Вишневецкий «На запад солнца»  
Марианна Гейде «Бальзамины выжидают»  
Александр Давыдов «Три шага к себе»  
Галина Ермошина «Оклик небывшего времени»  
Иван Жданов «Воздух и ветер»  
Зиновий Зинник «Письма с третьего берега»  
Александр Иличевский «Бутылка Клейна»  
Юлия Кокошко «Шествовать. Прихватить рог...»  
«Комментарии» № 28 (памяти Алексея Парщикова)  
Илья Кутик «Эпос»  
Павел Лемберский «Уникальный случай»  
Маргарита Меклина «Моя преступная связь с искусством»  
Алексей Парщиков «Ангары»  
Константин Поповский «Следствие по делу о смерти принца Г.»  
Александр Скидан «Расторжение»  
Андрей Тавров «Парусник Ахилл»  
Александр Уланов «Между мы»  
Эдвард Фостер «Кодекс Запада. Битники. Стихотворения»  
Борис Херсонский «Вне ограды»  
Валерий Шубинский «Золотой век»  
Татьяна Щербина «Исповедь шпиона»  
Владимир Алейников «Поднимись на крыльцо»  
Анна Аркатова «Знаки препинания»  
Сухбат Афлатуни «Пейзаж с отрезанным ухом»  
Алексей Афонин «Очень страшное кино»  
Андрей Бауман «Тысячелетник»  
Сергей Бирюков «ПОЭЗИС»  
Игорь Богданов «Федоров в кино»  
Игорь Булатовский «Стихи на время»  
Елизавета Васильева «Настала белая птица»  
Игорь Вишневецкий «Первоснежье»  
Герман Власов «Музыка по проводам»  
Владимир Гандельсман «Ода одуванчику»  
Алла Горбунова «Колодезное вино»  
Дмитрий Григорьев «Другой фотограф»



Лидия Григорьева «Сновидение в саду»  
Андрей Грицман «Голоса ветра»  
Владимир Губайловский «Судьба человека»  
Дмитрий Драгилёв «Все приметы любви»  
Игорь Жуков «Готфрид Бульонский. Книга стихов»  
Аркадий Застырец «Онейрокритикон»  
Валерий Земских «Кажется не равно»  
Валерий Земских «Неразборчиво»  
Лина Иванова (Полина Андрукович) «В море одна волна»  
Антонина Калинина «Бересклет»  
Константин Кравцов «Аварийное освещение»  
Сергей Круглов «Народные песни»  
Илья Кучеров «Стихотворения»  
Елена Лапшина «Всякое дыхание»  
Константин Латыфич «Человек в интерьере»  
Константин Латыфич «Равноденствие»  
Анатолий Ливри «Посмертная публикация»  
Ольга Мартынова «О Введенском, о Чвирикe и Чвирикe»  
Зоя Межирова «Часы Замоскворечья»  
Вадим Месяц «Безумный рыбак»  
Арсен Мирзаев «Дерево времени»  
Надежда Муравьева «Carmenes»  
Вадим Муратханов «Ветвящееся лето»  
Канат Омар «Каблограмма»  
Юрий Орлицкий «Верлибры и иное»  
Алексей Остудин «Эффект красных глаз»  
Константин Рубахин «Самовывоз»  
Ры Никонова «Слушайте ушами»  
Александр Самарцев «Части речи»  
Екатерина Симонова «Сад со льдом»  
Дмитрий Силкан «Всеношные бдения Фауста»  
Сергей Соколкин «Я жду вас потом»  
Юрий Соловьев «Убежище»  
Александр Стесин «Часы приёма»  
Дмитрий Строцев «Бутылки света»  
Сергей Строкань «Корнями вверх»  
Андрей Тавров «Зима Ахашвероша»  
Андрей Тавров «Часослов Ахашвероша»  
Фотис Тебризи «Черное солнце эросов»  
К.С. Фарай «Поющий Минотавр»  
Людмила Херсонская «Все свои»  
Людмила Ходынская «Маскарад близнецов»  
Наталия Черных «Камена»  
Наталия Черных «Похвала бессоннице»

Феликс Чечик «Алтын»  
Марк Шатуновский «Сверхмотивация»  
Алексей Шепелёв «Сахар: сладкое стекло»  
Аркадий Штыпель «Вот слова»  
Ирина Роднянская «Мысли о поэзии в нулевые годы»  
Андрей Тавров «Письма о поэзии»  
Вадим Месяц «Поэзия действия»  
Зинаида Миркина «Избранные эссе»  
Наталья Горбаневская «Прозой о поэзии»  
Юрий Казарин «Каменные элегии»  
Владимир Беляев «Именуемые стороны»  
Александр Зайцев «Тектоника»  
Екатерина Перченкова «Сестра Монгольфье»  
Анастасия Афанасьева «Полый шар»  
Андрей Тавров «Матрос на мачте»  
Андрей Тавров «Бестиарий»  
Демьян Кудрявцев «Гражданская лирика»  
Виктория Андреева «К небу поближе»  
Александр Радашкевич «Земные праздники»  
Наталья Горбаневская «Города и дороги»  
Андрей Коровин «Любить дракона»  
Сергей Сольвьёв «Адамов мост»  
Андрей Юрич «Ржа»  
Марианна Ионова «Мэрилин»  
Егор Мирный «На кострами заросшем Плутоне»  
Евгения Изварина «Дом для одной свечи»  
Мария Ватутина «Цепь событий»  
Юрий Казарин «Культура поэзии»  
Ниджат Мамедов «Место встречи повсюду»  
Хельга Ольшванг «Версии настоящего»  
Александр Петров «Пятая сторона света»  
Давид Паташинский «Читай меня по губам»  
Наталья Черных «Солнечная»  
Аня Цветкова «кофе сигареты яблоки любовь»  
Максим Калинин «Часовые над Шексной»  
Юрий Казарин «Глина»  
Изяслав Винтерман «Точка с божьей коровки»  
Елена Баянгулова «слова как органические соединения»  
Александра Цибуля «Путешествие на край крови»  
Дарья Верясова «Крапива»  
Василий Нестеров «Ящеры поют»  
Мария Суворова «Маленькие Марии»

Литературно-художественное издание

Александр Петрушкин

## ГЕОМЕТРИЯ ПОБЕГА

Стихотворения

Поэтическая премия «Русского Гулливера»  
*специальная премия издательского проекта*

Руководитель проекта Вадим Месяц  
Оригинал-макет и вёрстка Екатерина Перченкова

Издательство «Русский Гулливер»  
Тел. +7 (495) 159-00-59  
E-mail: [russian\\_gulliver@mail.ru](mailto:russian_gulliver@mail.ru)  
<http://www.gulliverus.ru>

Подписано в печать 12.05.2015  
Формат 140 x 200  
Гарнитура Newton C  
Тираж 300 экз.  
Заказ №

Отпечатано с готового оригинал-макета в типографии Cherry Pie  
112114, Москва, 2-й Кожевнический пер., 12